

ЭЛЬЧИН

рассказы

перевод Натаван Халиловой

Лифт

1

...потом я опять услышал тот самый шум, это был звук опускающегося и поднимающегося лифта. Затем мне вдруг показалось, что я сам и есть этот лифт. Я – лифт! В тот момент я даже представить себе не мог, что фантастическая мысль воплотилась в жизнь – я превратился в лифт.

Вот уже несколько лет, с тех пор, как мы переехали в этот дом, я и моя семья каждый день с божьей помощью поднимаемся на этом лифте в свою квартиру на тринадцатом этаже.

Только этим ли лифтом?

Но если я лифт, то как я пользовался этим лифтом? Произошедшее со мной столь невероятно и фантастично, что кажется каким-то таинством.

Почему, почему именно со мной должна была произойти эта невероятная история?

Есть ли тот свет? – никто не может ответить на этот вопрос. Это лишь надежда, и перед страхом смерти ты хватаешься за нее, как за соломинку, – еще не все потеряно. Но, к сожалению, эта надежда теперь очень далека от меня, она недостижима, потому что я больше не человек, я – лифт, а значит, моя жизнь (жизнь?) теперь зависит не от Бога, а от электричества.

В первое время, когда открывались двери, мне казалось, что я широко раскидываю свои руки и обнимаю входящих людей. Возможно, потребность людей в общении создавала это ощущение, не знаю – но у меня больше нет желания обнимать их, однако, увы, это не зависит от моего желания – двери открываются и закрываются независимо от моего желания.

Вскоре моим самым большим желанием стало отключение электричества. Но что бы я делал, если бы отключили электричество? Меня бы не стало, потому что я больше не человек, я лифт, и у меня не было спасительной соломинки, а пока я был новеньким, исчезать я не хотел.

Потом выяснилось, что отключение электричества ничего не решает. Как-то раз отключили электричество, и я исчез. Но его подачу быстро восстановили, и я снова появился и стал, как всегда, подниматься и опускаться.

Это не то, чтобы пробудиться ото сна, потому что ты не видишь снов, не ворочаешься, не кашляешь. Это как бы исчезнуть и снова появиться из небытия.

Когда отключали электричество, я исчезал, а когда его восстанавливали, я снова появлялся. Это как камни Чингисхана – уменьшаются и снова восстанавливаются. Когда Чингисхан отправлялся на войну, каждый из его воинов кидал на землю по одному камню. Камни, падая друг на друга, образовывали огромный холм. После возвращения из похода каждый воин поднимал с этого холма по камню. По оставшимся камням Чингисхан подсчитывал свои потери. Затем в войско вливались новые, молодые воины, и все повторялось снова. И холмы то вырастали, то уменьшались.

2

Я работал научным сотрудником в НИИ истории, специализировался на древних цивилизациях, в основном, на культуре шумеров. В то весеннее утро я, как всегда, в половине девятого – работа начиналась в девять утра – вышел из дома и нажал на кнопку лифта. Лифт как будто ждал меня: в ту же секунду двери раскрылись.

Иногда, когда лифт ожидал меня на тринадцатом этаже, меня охватывало некое чувство легкости и оптимизма. В тот момент мне казалось, что когда двери лифта открываются, положительная энергия охватывает все вокруг, и эта энергия минут на пять-десять уносит прочь мое плохое настроение, которое часто бывало у меня, и причину которого я сам понять не мог.

Когда в то весеннее утро, наполненный этой временной положительной энергией, разлитой вокруг, я вошел в лифт, меня неожиданно бросило в холодный пот, я почувствовал, как тело мое растворяется со скоростью чернил, расплывающихся по промокашке, мое отражение в зеркале тает и исчезает. Я видел в мельчайших деталях внутреннюю часть лифта, все четыре стены, пол и потолок, но себя внутри не видел, лифт внутри был пуст: я был в лифте, и в то же время меня в нем не было.

Мой портфель – вот уже двадцать один год, как я хожу на работу с этим портфелем – валялся в углу лифта, и я как будто только сейчас заметил, какой он у меня потрепанный.

Мне захотелось крикнуть, потянуться, хотелось выбраться из небытия, но ничего не получалось, я не мог закричать, потому что у меня не было голоса, не было рта, все мое тело исчезло.

Я не был в лифте, я был лифтом.

Я на большой скорости спустился на 1-й этаж, двери открылись, в кабину вошел мужчина, живший на пятом этаже, по утрам я часто встречался с ним, он отводил внуков в детский сад и возвращался обратно, и я наивно надеялся, что он все поймет, как-то поможет мне, но он только удивленно посмотрел на мой портфель в углу лифта.

Я хотел крикнуть: это я, мне нужна помощь, вернее, я кричал, орал, но голоса не было, и когда на пятом этаже двери открылись, мужчина, снова вопросительно взглянув на мой портфель, вышел из лифта.

Затем я быстро поднялся на 18-й этаж, двери открылись, и в лифт вошла самая красивая девушка нашего подъезда (а на самом деле всего мира!), двери закрылись, девушка нажала на кнопку первого этажа, затем посмотрела на мой портфель и, как будто узнав его, улыбнулась. Оторвав взгляд больших черных глаз от моего портфеля, она внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале, расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке под курткой так, чтобы ямочка между грудями была немного видна.

Я не знал, как зовут ее, каждый раз, когда я встречался с ней возле лифта, или когда мы вместе поднимались на лифте, мы улыбались и приветствовали друг друга – только и всего. Ясное дело, эта девушка не могла знать, что богиня Нинлиль в моем воображении всегда ассоциировалась с ее образом. По ночам она являлась ко мне голой в образе Нинлиль.

Девушка улыбнулась и подмигнула своему отражению, но в тот момент я был безразличен к ее красоте, потому что, собрав все свои силы, я хотел крикнуть, что стал лифтом, и пусть эта девушка – мой пассажир! – поможет мне. Но чем могла мне помочь эта девушка, если мое существо состояло из невидимого и безголосого сознания? (Просто потом, когда эта девушка каждый день поднималась или спускалась со мной на первый этаж, все мое невидимое существо окатывала приятная волна – на мгновение мне казалось, что сейчас войдет Нинлиль, завернутая в тонкое прозрачное одеяние, и эта волна исходила от ее белого, упругого, гладкого и желанного тела.

В то весеннее утро, когда я стал лифтом, на первом этаже ждали лифт (т.е. меня) два незнакомых человека. Когда моя красавица (моя Нинлиль) вышла, они вошли в лифт и нажали на кнопку семнадцатого этажа, и я со скоростью поехал вверх.

Потом меня вызвали на десятый этаж.

Это был этаж, на котором жил член-корреспондент Академии наук Мурсал Сулейман.

Можно ли ненавидеть какой-либо этаж здания? Можно! В нашем здании я ненавидел десятый этаж, и именно из-за Мурсала Сулеймана.

Когда меня вызвали на десятый этаж, я подумал, что в такой тяжелый и трагический момент в моей жизни мне совсем не хочется его видеть. Но я был лифтом и полностью подчинялся нажатию кнопки. Я остановился на десятом этаже, двери открылись, и в кабинку вошел Мурсал Сулейман.

Разве когда-нибудь что-нибудь было по моему желанию?

Этот человек среднего роста, полный, злопамятный и высокомерный, был похож на курицу-наседку, и когда он говорил, казалось, что эта курица, глядя на тебя полными гнева глазами, готовится защищать своих цыплят.

Он нажал на кнопку первого этажа, увидев мой портфель, сразу узнал его и начал гневно бормотать себе под нос.

– Этот несчастный уже и портфель свой забывает... – потом носком туфли он отодвинул портфель от двери и снова забормотал: – Несчастный, несчастный...

Дело в том, что этот Мурсал Сулейман был начальником моего отдела. За свою монографию об Атропатене он получил государственную премию. Кембриджский университет перевел и опубликовал эту монографию на английском языке. Опубликовали ее и в Японии. Сейчас он был занят Кавказской Албанией, и на всех собраниях отдела он не упускал случая, чтобы не отчитать меня перед другими работниками:

– Несчастный, на кого ты замахнулся, на шумеров? По тебе ли эта тема?

Или:

– Несчастный, по одежке протягивай ножки!.. Двадцать лет ты носишься с одной диссертацией и никак ее до ума не можешь довести!

Или:

– Этот бедолага не понимает, что расстояние между ним и шумерами в сотни раз больше расстояния между шумерами и современностью!..

И так далее в том же духе.

Но эта кудахталка и представить себе не могла, что по вечерам, в кровати, закрывая глаза и гуляя по древнему Шумеру, по берегу Евфрата, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Правда, это всего лишь мечты, ну и что с того? На самом деле счастье, которое ты испытываешь в своих мечтах, дает более сладкое ощущение, потому что счастье в реальной жизни – вещь относительная. Счастье же, которое ты проживаешь в воображаемом мире, является полным, целостным, несравнимым и безграничным.

Я знал каждое священное ивовое деревце, посаженное на берегу Евфрата, и чувствовал, что и они меня знают, ждут меня и радуются мне. Я расхаживал по берегу, как Энлиль. Я действительно ощущал себя Энлилем – сыном Неба и Земли, и в том воображаемом прекрасном мире я был божественным покровителем столицы Шумеров Ниппура. И Луна, и Подземный мир, и посланники Богов, и самые мощные войска повиновались моим сыновьям.

Я слушал шумерские рассказы, слушал шумерские песни, смотрел шумерские танцы, и в те ночи я любил богиню Нинлиль. Прозрачные одеяния спадали с тела Нинлиль, ее горячие груди прикасались к моим плечам, потом ее нежные и такие родные руки гладили мою грудь. В эти прекрасные моменты самым несчастным человеком на земле был не я, а Мурсал Сулейман, монография которого была опубликована в Кембриджском университете.

Наконец на первом этаже двери открылись, и Мурсал Сулейман (впоследствии, когда я поднимал вверх и опускал вниз этого человека, мне казалось, что прошли не секунды, а бесконечные минуты) вышел, и меня вызвали на тринадцатый этаж – мой этаж.

Чуть не сказал, что мое сердце бешено заколотилось, но как может биться то, чего нет? Мое сознание стало пульсировать, и когда на тринадцатом этаже двери открылись, вошли мои сын и дочь.

В школе начались весенние каникулы, и я знал, что они собираются к бабушке – к моей теще.

В тот момент я не хотел, чтобы моя дочь увидела мой портфель, потому что внезапно у меня возникло чувство стыда за такой потрепанный портфель, но дочка тут же его увидела:

– Ой, это же папин портфель!.. – сказала она.

Мне захотелось крикнуть: я здесь, не бойтесь, я стал лифтом. Но мой голос, словно наполнив все мое сознание, был готов взорвать его, как воздушный шар. Я и сам хотел, чтобы это произошло, хотел, чтобы исчезло не только тело, но и сознание.

Дочка подняла мой портфель, и когда лифт остановился на первом этаже, она снова нажала на кнопку тринадцатого этажа; доехав, они поспешили домой. После этого какое-то время только и говорили, что о моем исчезновении. В лифте соседи и родственники, которые приходили к нам, выдвигали разные версии: он (т.е. я) покончил жизнь самоубийством, наверное, у него были долги, которые он не мог выплатить, его убили, его похитили (почему?..)

Однажды, когда моя жена и теща спускались на лифте вниз, теща сказала:

– Ты столько ругалась с ним, что он не выдержал и сбежал от тебя.

– Мама, разве я чего-то требовала от него?! – сказала жена и прослезилась.

В тот момент с десятого этажа поступил вызов, я остановился, двери открылись, и вошел Мурсал Сулейман. Он поздоровался с моей женой и, заметив на ее лице слезы, искренним голосом сказал:

– Ну, что можно поделывать?.. Это жизнь. – А когда я остановился на первом этаже, попрощался: – До свидания. – И вышел из лифта, говоря самому себе: – Кто может знать свое предназначение?.. Все в руках божьих.

Так, разговаривая сам с собой, он вышел из подъезда, и я уже не мог слышать, что он говорит.

Странно, но с тех пор я больше не испытывал ненависти к десятому этажу.

Почему? – не знаю.

Так проходили дни.

Все успокоились, больше обо мне никто не говорил – я был всеми забыт. Даже мои дети больше не говорили обо мне, во всяком случае, я ни одного слова от них не слышал, хотя мне очень хотелось, чтобы они вспоминали обо мне.

Ну и что с того, что я хочу?

Звук поднимающегося-спускающегося лифта разрушает мой воображаемый мир. Даже по вечерам я больше не могу расхаживать по берегу Евфрата, не могу радовать священные ивовые деревья, не могу давать указания своим воображаемым подданным, потому что я больше не могу быть могущественным Энлилем, потому что я стал лифтом. Я больше не могу любить Нинлиль по вечерам, так как я постоянно нахожусь в напряженном состоянии. Сейчас какой-то припозднившийся житель нажмет на кнопку, двери с шумом откроются, и чаще всего в таких случаях вместе с пассажиром в кабинку лифта врывается запах спиртного, отчего прекрасная богиня Нинлиль моментально растворяется и исчезает.

Иногда я вспоминаю свой старый портфель и мне кажется, что этот портфель когда-то был человеком.

По-моему, я сошёл с ума.

Я – в смысле лифт.

3

Сизифу было дано самое суровое наказание после его смерти, но в чем была его вина? – он обманул Бога Смерти, потому что не хотел умирать. Только я не «Кто», я – «Что», кроме моего сознания у меня ничего нет. Но я тоже не хочу умирать. Я боюсь небытия.

Мое существо, состоящее только из сознания, с раннего утра (с момента нажатия на кнопку) до позднего вечера, пытается и никак не может понять: если я не «Кто», а «Что», то почему я приговорен к такому сизифову труду.

У Сизифа, наверное, была хоть искорка надежды, что когда-нибудь он сможет докатить огромный камень до вершины горы, и этот камень не сорвется вниз. У меня же не было даже призрачной надежды, что я когда-то что-то смогу сделать, потому что для меня этого «что-то» не было.

Сизиф обманул Бога Смерти и пленил его, а я был простым человеком, одним из миллионов простых маленьких людей, в чем же был мой грех, что я получил такое невероятное и страшное наказание?

Я родился в больнице, подрос, пошел в детский сад, потом в школу, позже окончил исторический факультет университета, работал научным сотрудником в Научно-исследовательском институте, женился, жена моя – домохозяйка, у нас двое детей, и до того, как я стал лифтом, сыну было восемь лет, а дочери одиннадцать – вот и все! – вот и вся моя жизнь, вся моя биография.

Может быть, я кого-то обидел? – нет, больше обижали меня. За всю свою жизнь я и пальцем никого не тронул. И до женитьбы у меня не было женщин, и после женитьбы, кроме моей жены, других женщин я не знал (...кроме Нинлиль?). Зарплату, всю, до последней копейки, отдавал в семью. Никого никогда не предавал – и такое наказание?!

Почему?

Иногда я думаю, может быть, число тринадцать действительно несчастливое?

Моя теща была неприятно удивлена, когда услышала, что наша двухкомнатная квартира находится на 13-м этаже.

– На тринадцатом... – сказала она. – Почему на тринадцатом?

Но если следовать этой логике, то не только в Баку, но и по всему миру люди, живущие на тринадцатом этаже, должны стать лифтами. Когда я думаю об этом, то сам себе говорю: «Откуда тебе знать, что это не так?». – Кто может знать об этом? – Никто. – Кто-то знает, что ты превратился в лифт? – Нет!

В последнее время я больше не боюсь, как раньше, исчезнуть, и мне даже кажется, что мысль, родившаяся в глубине моего сознания, прорастая, как трава сквозь асфальт, крепнет, превращаясь в желание исчезнуть. И когда отключается электричество, я не хочу, чтобы его восстанавливали. Но, к сожалению, от меня ничего не зависит.

Мои желания сейчас и гроша ломаного не стоят.

Лифт поднимается и спускается.

Двери лифта открываются и закрываются.

Я осужден.

Самоубийство

(рассказ о слепой красивой девушке)

1

Как Аби стал святым

...потом он увидел, что он летит головой вниз между отвесными скалами в бездонное ущелье со скоростью тяжелого камня – летел, летел, наконец, ударился о дно ущелья, и из его разможенного черепа фонтаном в острые скалы брызнули мозги, смешанные с кровью.

Той зимней ночью Захра – его мать – вскочила на испуганный крик сына, бо-сиком неслышно подбежала к нему.

– Аби, что с тобой? Страшный сон приснился? – спросила она, и когда укрывала сползшим одеялом ребенка, увидела, что он весь мокрый: – Как же ты вспотел... – прошептала она.

Ребенок устремил на Захру большие зеленые глаза, блестящие в темноте, словно на них откуда-то падал свет:

– А куда опять ушел Аслан?

– Тише, – сказала мать, мельком взглянув на Шакира. – О ком ты говоришь?

– Аслан...

– Говори тише... Кто такой Аслан?

Аби и сам не знал, кто такой Аслан.

– Опять его оштрафовали? – спросил он.

– Что тебе такое приснилось? – спросила мать. Потом велела: – Ну-ка, поднимись. – Она сняла с него мокрую майку, вытерла вспотевшее тело ребенка рукавом своей широкой ночнушки, хотела принести ему свежую майку, но испугалась, что Шакир проснется. – Спи, спи, Аби, – прошептала она. – Постарайся не скидывать с себя одеяло.

Аби родился после пяти старших сестер, но Шакира, отца пяти девочек, рождение сына вовсе не обрадовало, человеком он был мрачным, постепенно отдаляясь от Бога, душа его переполнялась тоской, он вечно был недоволен и своей судьбой, и своей жизнью, считал этот мир «подлым» и стоило ему немного выпить, как он старался довести до каждого это свое мнение.

Захра такими же бесшумными шагами вернулась и легла в свою постель, с опаской посмотрела на Шакира, он работал шофером в бакинском цирке, уезжал на работу рано утром на первой электричке и возвращался за полночь такой усталый, что спал мертвецким сном, и на этот раз он спал крепко, не проснулся. Шакир возил животных, приезжающих на гастроли, отправляемых в зоопарк или, наоборот, из зоопарка в цирк, и, может, оттого, что свыкся с животными, с людьми разговаривать вообще не любил, а если и говорил с кем-то, то, не выбирая выражений, ругал этот мир на чем свет стоит.

А Захре той осенней ночью не спалось, Аби то и дело ворочался, скидывая с себя одеяло, и она, как тень, подходила к ребенку, вытирала пот и снова укрывала его. Шакир тяжело дышал, потому что много курил, всякий раз при выдохе вокруг распространялся запах дешевых и крепких сигарет, и Захра, уже привыкшая к этому запаху, просила Бога только о том, чтобы Аби не заболел.

После той осенней ночи Аби, то есть Абдул, не заболел.

И шестилетний Аби, и Захра узнали, о каком Аслане шла речь, только через десять лет, когда Аби исполнилось шестнадцать. Тайна этих десяти лет не вместились бы и в несколько десятилетий – за это время не только жители поселка, но даже Шакир, бросивший курить, стали называть Абдула «Ага».

В северной части поселка, напротив моря, у подножья горы, было место паломничества «Korgözəlqız» («Слепая красивая девушка»), – говорят, эта девушка, с красотой которой никто не мог сравниться на всем побережье Абшерона, очень любила свою мать, но та неожиданно заболела и умерла, а красавица, не смирившись с этой потерей, днем и ночью столько плакала, что в конце концов ослепла, из ее слез образовался ручей, а Господь за такую преданность наделил этот ручей целительной силой. Чуть выше места паломничества, на вершине горы, был маленький отступ, который прозвали «Скала слепой девушки»: говорят, что в последний раз ту девушку видели сидящей именно там, потом она исчезла.

Жители не только поселка, но и всех близлежащих деревень, все, у кого были какие-либо проблемы в жизни, считая эту скалу святой, приходили к «Korgözəlqız», приезжали даже из Баку, давали обеты, совершали тут жертвоприношения, умывались водой из родника, пили ее, иногда в ней даже купали маленьких детей, но с той осенней ночи, когда маленький Аби проснулся весь мокрый и спросил про Аслана, количество паломников к «Korgözəlqız» стало уменьшаться.

Дело в том, что до того вечера Аби был обычным ребенком и ничем от других детей в квартале не отличался. Он играл с другими детьми, проказничал, смеялся,

плакал, но после того вечера он стал совершенно другим – дети купались в море, оглашая округу веселым смехом и криками, а он сидел на берегу в сторонке и с интересом наблюдал за ними, и самое странное то, что когда Аби смотрел на кого-то из детей, он как будто видел кино: одного из них он видел уже взрослым, сидящим за рулем дорогой машины, другого – утонувшим в море, третьего – залитым кровью, четвертого – ведущим своего маленького сына в школу...

А иногда случалось так, что когда он смотрел на них внимательно, то слышал, как бьются их сердца, как по венам течет их кровь, как выпитая ими вода достигала их желудка, одним словом, он видел все, что творилось внутри них.

Вначале Аби забавляли эти видения, для него это была игра, ему казалось это вполне нормальным, он считал, что все вокруг именно так всё и видят, но постепенно понял, что это нечто другое.

Когда Аби учился во втором классе, в один из пасмурных осенних дней на перемене он увидел своего классного руководителя Талыб-муаллима, беседующего с другими преподавателями перед учительской. Аби вздрогнул и замер. Талыб-муаллим с удивлением посмотрел на него:

– Что с тобой, дитя, что случилось?

– Бадал упал с крыши и умер, – ответил он.

У Талыб-муаллима глаза на лоб полезли:

– Что?! – только и вымолвил он и поспешил в учительскую, чтобы позвонить домой.

Бадал закончил школу с золотой медалью и теперь учился в университете на биологическом факультете, весь поселок знал о голубятне, которую он держал на крыше «хрущевки», построенной в поселке еще в 60-х годах. Когда Бадал запускал с крыши дома, в котором жил, своих голубей, то все в поселке, от мала до велика, наслаждались пируэтами птиц в небе.

После того, как Талыб-муаллим позвонил домой и поговорил с Бадалом, живым и здоровым, он пришел в школьную столовую, подошел к Аби, который ел булку и, глядя на него через толстые стекла очков, сердито спросил:

– Что это за глупости ты говоришь, а?! Завтра пусть отец придет в школу!

То, что Талыб-муаллим вызвал отца Аби в школу, говорило о крайнем его негодовании, дело в том, что так же, как Шакир ненавидел весь мир, так и жители поселка не жаловали его, сторонились, называя его за глаза «овчарка Шакир», так как человеком он был не только грубым, но и скандальным.

Держа в руках булку и глядя вслед Талыб-муаллиму, Аби никак не мог понять, за что так рассердился на него учитель.

В тот пасмурный осенний день по всему поселку разнеслась страшная весть: сын Талыб-муаллима Бадал, пытаясь запустить своих голубей со своей голубятни, упал с крыши и разбился насмерть. Люди, пораженные этой вестью, думали, что Талыб поскользнулся и упал, однако Аби никому не говорил, но знал точно, что Бадал не поскользнулся, а бросился с крыши – еще утром, когда он встретил Талыб-муаллима на перемене, он ясно увидел это, но с тех пор на протяжении многих лет он никому не говорил того, что увидел.

После того, как Аби при других учителях сказал Талыб-муаллиму о смерти Бадала, весь поселок стал называть его не просто Аби, а полным именем – Абдул, потом стали называть «Абдул Ага», а потом и просто «Ага», и когда кто-то говорил «Ага», все знали, о ком идет речь.

Однажды, когда весть о способностях Аби только-только начала распространяться, Шакир, вернувшись с работы, сидел и, как всегда, одну за другой курил сигареты.

– У него глаза дикой кошки! – посмотрев на Аби, совершенно неожиданно даже для самого себя сказал он. Тогда Захре показалось, что Шакир сказал эти слова с ужасом, исходящим из самого его нутра, казалось, в эту минуту он впервые почувствовал себя растерянным. Через два дня, когда, поужинав после работы, Шакир, по своему обыкновению, сидел и непрерывно курил, Аби, уставившись на отца своими большими зелеными глазами, сказал:

– Больше не кури.

С тех пор Шакир больше не курил.

2. Ежедневная жизнь Аби

Количество паломников к пиру «Korgözəlqız» настолько снизилось, что побирušки и собиратели жертвоприношений из близлежащих деревень, поселков, даже из самого Баку, облюбовавшие себе это место и считающие его своей собственностью, – лжемоллы, лжесеиды, лженищенки, постоянно ругающиеся между собой, – начали возводить напраслину на Агу, распространять среди людей ложные слухи, переправлять их в прессу под видом «шок-новостей», но все было бесполезно, слава о нем шла от Баку до абшеронских деревень и постепенно расходилась все дальше и дальше, потому что дар Аги был на виду и говорил сам за себя.

Даже настоящий ученый, молла Гурбан, живший в поселке, диву давался и только удивленно разводил руками.

– Люди, – говорил он вначале, – не сводите ребенка с истинного пути, не делайте его несчастным. Пусть он занимается своими уроками. Не будьте невеждами и неучами. Гадание, колдовство, чародейство – это предрассудки. Заниматься такими вещами – значит, служить Дьяволу.

Но через какое-то время двухлетний внук Моллы Гурбана вдруг чуть не умер, врачи говорили разное, выписали лекарства, но ничего не помогало, мать ребенка, дочка Моллы Гурбана, отнесла горящего в температуре ребенка к Аге, и тот, посмотрев внимательно на ребенка, спокойно сказал:

– Он проглотил длинную резину.

Ребенка срочно забрали в Баку, сделали операцию и вытащили застрявшую в кишечнике резиновую ножку куклы длиной в 9 сантиметров, и повидавший многое опытный врач был удивлен тем, как мог двухлетний ребенок проглотить такой большой предмет.

Покойный Молла тогда только развел руками и промолвил:

– Что мне сказать?..

На самом деле это было признанием дара Аги.

К дверям его дома стали стекаться больные, инвалиды, люди, искавшие своих потерянных родственников, бездетные, жаждущие иметь детей, короче, все, у кого были те или иные проблемы, и Ага, даже взрослея, оставался по-детски искренним и правдивым, говорил то, что видит, а то, чего не видел – не выдумывал, признавая, говорил: «Я затрудняюсь что-либо сказать в этой ситуации».

Поселок, в котором жил Ага, становился все более известным, постепенно он стал благоустраиваться, потому что Шакир, оставив работу в цирке, занялся органи-

зацией приема Агой посетителей и заработанные сыном деньги тратил не только на свою семью, поток посетителей увеличивался, и соразмерно этому увеличивался и поток денег, на эти деньги Шакир заасфальтировал дорогу длиной почти в три километра, ведущую от магистрали в их поселок – и теперь людям не приходилось, сходя с бакинских автобусов, идти пешком до села по бездорожью, автобус подъезжал к самому селу. Электрические провода, проведенные в село еще во времена Сталина, при малейшем ветре обрывались, Шакир обновил их, и вообще, всеми ненавидимый, мрачный, грубый, слывший скандалистом «овчарка» Шакир оказался человеком мягким, доброжелательным, готовым протянуть руку помощи нуждающимся.

Шакир выдал замуж всех пятерых дочерей, и мужем одной из них стал некий Аслан. После того, как Шакир стал работать на себя, он купил себе «Москвич», но по мере того, как росла слава Аги, Шакир купил себе «Жигули», а старую машину подарил Аслану. Аслан был косым и по этой причине часто нарушал правила движения, будучи человеком бедным и простодушным, но в то же время нагловатым по природе, он каждый раз приходил к тестю с жалобой:

– Меня оштрафовали...

После четвертого или пятого раза Ага почувствовал, что Шакиру не нравятся эти разговоры о «штрафах», и он больше не собирается оплачивать их.

– Чего бы Аслан ни попросил, – сказал Ага отцу, – никогда не отказывай.

Слова его звучали как повеление, поэтому для Шакира они были законом. Шакир приписал их милосердию сына и принял их, но дело было в другом: Ага знал, что жить Аслану осталось меньше года – у него случится кровоизлияние в мозг, и через несколько дней он умрет в больнице.

Ага знал об этом, но никому не говорил, и все эти знания потихоньку наполняли его. Вначале он говорил своим посетителям все, что ему открывалось, но по мере того, как он рос и взрослел, начал понимать, что неправильно говорить человеку все, что его ждет в будущем, и вообще иногда ему казалось, что смерть – это конец отпущенного Богом человеку времени, и знать об этом часе может только Бог, но никак не человек.

Как и почему Ага тогда это понял?

Школу Ага не бросил, правда, это было в советское время – речь идет о 70-х годах прошлого века – несмотря на все трудности, с помощью Талыб-муаллима он закончил школу. Талыб-муаллим вот уже несколько лет был директором школы и его не раз вызывали в вышестоящие органы, даже в министерство образования по этому вопросу, но благодаря своему авторитету у начальства Талыб-муаллиму удавалось защитить Агу, и когда он, пожимая руку, вручал Аге аттестат зрелости, мальчик увидел в глубине глаз, глядящих на него сквозь толстые стекла очков, неизбывную, навсегда поселившуюся там печаль, и Ага в первый и последний раз в жизни соврал:

– Талыб-муаллим, Бехбуд многого добьется в жизни, станет большим человеком, заслужит всеобщее уважение...

От этих слов глаза Талыб-муаллима наполнились слезами, и его полные печали глаза засветились радостью и благодарностью. Бехбуд был младшим братом покойного Бадала и теперь уже единственным ребенком Талыб-муаллима. Ага соврал еще и потому, что точно знал, что у Бехбуда будет очень тяжелая, полная опасностей жизнь, и еще Ага знал, что Талыб-муаллим об этом никогда не узнает.

Ага, приезжающий в университет на собственной машине с шофером и вынужденный каждый день проходить сквозь толпу ожидающих его репортеров и те-

лежурналистов, смог проучиться только один семестр, потому что у руководителя кафедры атеизма, всегда внимательного к тому, как он выглядит, и одевающегося со вкусом и по последней моде, – надо же такому случиться, – фамилия была Агазаде, и профессор этот поднял шум («Как можно оставлять в университете этого афериста, этого гадальщика? В таком случае можете закрыть мою кафедру и открыть кафедру гадания, пусть студенты учатся и становятся аферистами!»)

Агу из университета отчислили.

Больше попыток поступить в какой-то университет Ага не предпринимал, но в его большом новом доме, построенном в поселке, была большая библиотека, и количество книг там с каждым разом увеличивалось, и Ага никогда не ставил на полку книгу, которую еще не прочитал.

Шакир, вложивший много сил и труда в строительство дома (делал он это с большим удовольствием), каждый вечер выходил на балкон второго этажа и, подняв голову к небу и сложив молитвенно руки, возносил Богу хвалу:

– Спасибо тебе, Господи!.. Спасибо!.. Спасибо!..

В один из вечеров, уже перед сном, Ага неожиданно крепко обнял отца, Шакир, растерявшийся от этого всплеска эмоций, тоже обнял сына – это было первое и последнее объятие отца и сына.

– Ага, – сказал Шакир, растроганный этим изъятием чувств, – прости меня, я много боли причинил тебе, когда ты был ребенком, да и маме, сестрам...

Ничего не ответив, Ага поцеловал отца – это был первый поцелуй в их жизни – и ушел в свою комнату. А рано утром раздался крик Захры: ночью Шакир умер во сне. Сельчане похоронили его с большими почестями.

Когда Ага женился, свадьбу делать не стал, он зарезал десять коров и раздал нуждающимся в деревнях, раскинутых по всему побережью, а первенца своего назвал в честь отца Шакиром. Вообще, если одной из причин всеобщей любви и уважения к Аге был божий дар, то другой – присущие ему щедрость и сострадание.

Как-то раз одна из центральных газет СССР напечатала об Аге оскорбительный фельетон под названием «Новоявленный пророк», и тогда в редакцию, Политбюро, Брежневу было послано столько телеграмм с протестами, что дело это сразу в Москве и замяли. Почитание Аги возросло настолько, что советские партийные руководители, работники КГБ по ночам, чтобы никто не увидел и не узнал их, приезжали к Аге и в большинстве случаев в скором времени получали положительный результат от этих визитов.

Как-то, это было в 1981 году, несколько дней Ага никого не принимал, да и сам никому не показывался, разнесся слух, что московские кэзгэбэшники увезли Агу на военном самолете в Москву, чтобы он осмотрел Брежнева. Правда это была или нет, но об этом говорили не только в поселке, но и во всем Баку, а в самом конце «перестройки», когда все советские газеты писали, что заборгассудитса, московские газеты вспомнили об этом факте и опубликовали сенсационные статьи, будто в 1981 году, следуя указаниям Аги, врачи вывели Брежнева из клинической смерти. Более того, журналисты обратились к главврачу Кремлевской больницы Евгению Чазову с этим вопросом, и тот ответил на него весьма уклончиво. После развала СССР и восстановления независимости Азербайджана Агу сравнивали с такими экстрасенсами XX века, как Ванга, Мессинг, Эдгар Кейси, Ури Геллер, и даже ставили Агу выше них. Из США приехала съемочная группа из ученых, операторов и режиссеров, несколько дней проводили эксперименты, сняли пятидесятиминутный фильм «Великий Пророк,

опровергший традиционную науку», завоевавший интерес и любовь зрителей, и за этот фильм Ага был выплачен гонорар в 475 000 долларов. Ага разделил эти деньги, часть отдал в бакинские детские дома, а другую часть через ЮНИСЕФ послал голодающим детям Африки.

Фильм, снятый московскими телевизионщиками под названием «Он и сам не знает, может, он пришелец с иной планеты», был удостоен в Израиле звания «Фильм года», а на Венецианском фестивале телевизионных фильмов завоевал самую высокую награду – приз «Хрустальная байдарка».

Ага никогда не говорил своим посетителям о продолжительности их жизни. Если была возможность избежать трагических событий, он предупреждал о них, если же нет – то вообще не говорил об этом, но как-то раз порог его дома переступил профессор Агазаде. Несмотря на все прошедшие годы, он, как всегда, был одет со вкусом и по моде, волосы аккуратно зачесаны, ногти ухожены, казалось, время совершенно не коснулось его. Единственное, что в нем изменилось, это то, что он стал одним из самых активных, даже агрессивных критиков Советского Союза.

– Здравствуй, как дела? – поздоровался он с Агой, как старый знакомый.

Выяснилось, что Агазаде посетил Агу в столь поздний час по важному вопросу:

– Ректор наш болен и написал заявление об увольнении. Рассматривается на его место и моя кандидатура. Я хотел бы узнать, получу я это назначение или нет?

Но кто знает, может, этот вопрос был лишь поводом, а на самом деле профессора привели любопытство и внутренний интерес, а еще и подсознательная необходимость. Ага посмотрел на него своими большими зелеными глазами.

– Да, вы получите это место, – сказал он и добавил совершенно неожиданно для себя, словно говорил не он сам, а кто-то другой, и в первый и последний раз сказал человеку о его смерти: – Но во время вашего представления коллективу вы умрете.

Вначале, когда профессор услышал добрую весть, его лицо озарилось счастьем, словно бутон цветка в вазе неожиданно раскрыл все свои лепестки, но последовавшие после этого слова заставили профессора Агазаде застыть на месте, и Ага ясно видел, как сильно забилося его сердце.

– Это не твоя вина, – сказал профессор, взяв себя в руки. – Это моя вина, что я пришел к такому шарлатану, как ты!

И, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

3. Тайна Аги

О смерти профессора Агазаде от сердечного приступа на представлении его коллективу в качестве нового ректора Ага прочел в газетах, и новость эта его очень расстроила, но в чем была его вина? Он сказал то, что увидел, и не было разницы, сказал бы он об этом или нет. Кто властен над жизнью или смертью?

В ту ночь пошел сильный дождь.

Ага, сидя у окна в своей комнате, смотрел, как дождевые струи бьют в стекло, и чувствовал муки профессора Агазаде, даже не то, чтобы чувствовал, но видел их.

Это была последняя ночь назначенного на должность ректора профессора Агазаде, и он никак не мог совладать со страхом смерти, все пытался убедить себя в том, что слова этого шарлатана, – то есть, Аги, – пустая болтовня, он всего лишь хотел отомстить за старое, но успокоиться все равно не мог.

Профессор размышлял верно: если Ага, даже неожиданно для себя, сказал ему открыто о часе смерти, значит, на протяжении всех этих лет в его душе жила жажда мести, и он воспользовался подходящим моментом.

Ага старался не заглядывать в будущее своих детей, но порой перед его глазами проходила вся их судьба со всеми подробностями, и жизнь Аги на самом деле была наполнена страданием и болью, так как ему приходилось жить с тем, что ему открывалось.

Профессор Агазаде умер в тот момент, когда получил то, о чем мечтал всю жизнь – почему? И Создатель мстил ему? Ведь человек не может выйти за пределы своей судьбы, если бы это было возможно, то Ага не мог бы видеть судьбы людей да и вообще предвидеть что-либо было бы невозможно.

Когда Ага смотрел на людей своими большими зелеными глазами, он видел не только их внутренние органы, но и их души, а душа профессора Агазаде была маленькой черной туманностью, но что с того?

И его, и тысячи других людей, приходящих к Аге, создал Творец, но для чего? Если все создано Богом, Высшей Силой, осознать могущество которого человеческий разум не способен, тогда почему души столь многих людей находятся в черном тумане? И порой эта туманность чернее угля. Почему Создатель, эта Высшая сила, позволяет этому случиться?

Казалось, все сомнения, размышления, разрывающие его мозг, все распирающие его чувства только и ждали смерти профессора Агазаде, и в эту ночь после его смерти поднялись в Аге, как лава в вулкане, и противостоять им он уже не мог.

Не мог или уже не хотел?

На протяжении всех этих лет он держал в себе все мучающие его вопросы, мысли и чувства, не позволяя им выйти наружу, потому что боялся их, никто, конечно, и не подозревал об этом, но это была правда: этот страх держал его в плену и он, глубоко одинокий в душе, жил с этим страхом. Кто бы поверил в это?

После полуночи весь поселок погрузился в темноту, только кое-где горели над воротами тусклые лампочки, дождь бил в окно, казалось, этот дождь звал его, Ага пошел к окну, но увидел в окне не поселковые дома, а себя.

Ему не хотелось смотреть на себя.

Ага не был уверен и в чистоте своей собственной души, он не мог видеть свою душу, хотя души других видел четко. В чем была причина? Почему был избран именно он? Может, на самом деле, как говорил молла Гурбан, это была какая-то дьявольская игра? Но что такое дьявольская игра? И тут Ага подумал, что люди все свои невзгоды и беды переложили на кошек и Дьявола, чтобы освободиться от ответственности.

Человек не хочет видеть и знать о внутренней своей черноте, поэтому и не видит ее, но у каждого дурного поступка есть оправдание. Кто такой человек, чтобы все было по его воле? Творец создал человека, и Он этого не хочет, тогда почему Он позволил Аге увидеть все это?

В эту ночь, когда дождь барабанил по стеклу, Ага хотел убежать от этих вопросов, но это было невозможно, и он осознавал это.

Почему Ага видел, кто, когда и как умрет, и не мог видеть того, что происходит с этими людьми после смерти? На протяжении всего этого времени он старался увидеть, что происходит с людьми после смерти, но когда он закрывал глаза, видел только серую пустоту, и все.

А после – несуществование? За этой чертой ничего больше нет, одна пустота?

Но если за чертой ничего нет, почему человек приходит в этот мир, и почему судьба его изначально predetermined? Потому что если бы она не была predetermined, то как бы Ага смог бы ее увидеть?

Ему вспомнились свои видения: он знал, что его мать Захра проживет сто семь лет, и это его радовало (Ага ничем не отличался от других людей, по крайней мере, сам он думал именно так). Но как-то ночью – за несколько лет до смерти профессора Агазаде – его посетило видение (так же, как когда-то в осеннюю ночь шестилетний Ага проснулся весь в поту и, сев в кровати, впервые увидел будущее): его мама, перешагнувшая свое столетие, смотрит на старую выцветшую фотографию давно уже умершего Аги и спрашивает: «Кто это такой?»

Если через пятнадцать-двадцать лет его собственная мать забудет его, тогда зачем он пришел в этот мир? Чтобы быть забытым через пятьдесят, пусть сто лет? Пусть даже не сто, пусть миллион?!

Ага посмотрел в ночное небо, откуда лил проливной дождь. В эту ночь небо растворилось в ночной темноте, но вдруг случилось нечто неожиданное: на какую-то долю секунды Ага увидел чистое небо, огромную луну и бесчисленное количество сверкающих звезд. Ага улыбнулся: что такое миллионы лет для Вселенной?! Ничто.

Ага вспомнил Слепую красавицу, словно она была одной из жительниц поселка – тихими шагами она прошла под дождем и села на скалу, носящую теперь ее имя. Ага чуть не закричал: что ты делаешь, простудишься, но это было всего лишь видением когда-то давно случившейся истории и никакого отношения к настоящей реальности не имело. Под дождем розовая рубашка девушки прилипла к телу, и ее упругие груди, руки, ноги, – все тело говорило о чистоте ее души. Ага почувствовал и увидел, что в этот миг Создатель вернул ей зрение, девушка подняла голову, посмотрела в небо и так же, как Ага, увидела чистое небо, луну и бесчисленные сверкающие звезды.

Впервые за долгие годы Агу захлестнула волна радости, но длилось это меньше мгновения, он понял, что девушка восприняла Божий дар, способность видеть это небо с луной и мириадами звезд как предательство по отношению к памяти матери – она вскочила и растворилась в темноте ночи.

Ага закрыл глаза и подумал, может, люди, для того, чтобы сохранить свою душу – неважно, чистая и светлая она или черная – должны держаться от него, от Аги, подальше.

4. Смерть Аги

13 августа 2011 года Аге исполнилось пятьдесят пять лет, для него самого эта цифра была каким-то удивительным чудом, потому что он до сих пор в мельчайших подробностях помнил тот осенний день, когда он, шестилетний, проснулся и спросил о покойном Аслане; удивительно, с тех пор прошло столько лет, а ему казалось, что все это было вчера.

Он был весь седой и выглядел намного старше своих лет, посетителям, жителям поселка – его ровесникам и даже тем, кто был намного старше него – он казался столетним старцем.

Иногда Ага вздрагивал, видя себя в зеркале, потому что маленький Аби всегда стоял перед его глазами.

В тот день, 13 августа 2011 года, взглянув на себя в зеркало, своим мысленным взором он увидел глаза маленького Аби, и в его душе поднялось не очень хорошее предчувствие, но потом все прошло.

Другим приятным событием этого дня стало то, что Захра, будто что-то почувствовав, поднялась с утра и приготовила плов, и вся их большая семья собралась за столом. Уже несколько ней Захра чувствовала себя плохо, ничего не ела, и дочери очень переживали за нее и успокоились только тогда, когда Ага просто сказал: «Не бойтесь!»

После чудесного выздоровления Захры, вторым приятным событием стало то, что у младшей дочери Аги, которая была беременна, начались схватки и ее увезли в роддом, а к вечеру пришло известие, что все хорошо, и вскоре он станет дедушкой еще одного внука.

Все началось после этого.

В тот вечер Ага больше никого не принял – ни посетителей, ни пришедших поздравить его с днем рождения, он чувствовал себя усталым (может, потому и чувствовал усталость, что никого в тот день не принял?). Совершенно неожиданно он вдруг вспомнил Бадала, сына Талыб-муаллима, наверное, на том свете они встретились, и Талыб-муаллим узнал, что Бадал не оступился, а бросился с крыши, но где он, этот «тот свет», и какой он?

В своей комнате на втором этаже Ага ходил из угла в угол. Каждый раз, когда он раздумьях расхаживал по комнате, домашние старались говорить шепотом и всю работу делать бесшумно, чтобы не мешать ему (хотя, что он особенного делал?), и сейчас во всем доме можно было услышать только его мягкие шаги.

Потом Ага отправился спать – он обычно ложился позже всех, он был жаворонком и спал не больше четырех-пяти часов, и сейчас 13 августа уже было вчерашним днем.

Когда Ага разделся и уже собирался лечь в постель, он вдруг замер, и перед его большими зелеными глазами появился его еще не рожденный внук, это был здоровый, красивый, всех радующий и всех любящий ребенок, в одно мгновение он вырос до семи лет, и вдруг неожиданно попал в автомобильную катастрофу и погиб в страшных мучениях.

Никогда Ага, за свою жизнь повидавший благодаря своему дару предвидения тысячи судеб, не испытывал такого потрясения, не потому, что погибший в таких мучениях семилетний ребенок был его внуком, а потому, что его мучил вопрос: почему этот ребенок, которому суждено так скоро и мучительно умереть, приходит в этот мир? Если грехи этого ребенка, совершенные им за отпущенные ему семь лет, заслуживают такой страшной смерти, то почему ему выпала такая греховная жизнь, почему эти грехи вписаны в его судьбу.

...Когда Ага вышел из дома, весь поселок еще спал.

Черная ненависть, как густой непроглядный туман, охватила всё его существо.

Ноги несли его к пиру «Korgözəlqız», и Ага знал это, но он не думал о том, почему идет туда, всепоглощающая ненависть уничтожила в нем все раздирающие его сомнения, размышления, мысли, переживания.

В ту душную августовскую ночь Ага задыхался, не хватало воздуха, но ему было все равно, он стремительно поднимался в гору, дойдя до пира, он, не останавливаясь, пошел дальше, поднялся на самую вершину горы и, сев на «Скале Слепой Красавицы», перевел дух.

Тишину ночи нарушал только доносящийся издалека гул моря. Все вокруг было окутано тьмой, Ага даже головы не поднял, чтобы взглянуть на небо. Он ко всему был равнодушен. Не было никакой разницы между душой Слепой Красавицы, сияющей чистотой, и черными душами, и Ага почувствовал себя вовлеченным в обман, в какой-то большой розыгрыш. Душа его пылала ненавистью к этой видимой и невидимой, огромной, как Вселенная, лжи, к этой лицемерной и циничной игре, и ненависть эта в Аге была столь сильной, что не он сам, а эта клокочущая ненависть подняла его со «Скалы слепой красавицы» и повела к ночному видению шестилетнего Аби.

5. Эпилог

Вся пресса, все сайты, телеграфные агентства сообщали об исчезновении Аги 13 августа 2011 года. Прокуратура даже открыла уголовное дело. Дети Аги обращались за помощью к знаменитым экстрасенсам.

Но все было безрезультатно.

Кладбищенская история

1

...затем с моря подул легкий весенний бриз, и этот весенний ветерок распространил по округе запах цветов, будто это было не кладбище, а красивый горный склон с лугами, поросшими цветами – как склон горы возле самого села, где прошло и детство, и юность, и молодость Шолу.

На кладбище бывает два типа цветов: растущие вдоль асфальтовых дорожек и вокруг могил и цветы, которые приносят посетители к месту упокоения их родных и близких (некоторые из букетов оставляли на могильных плитах прямо в целлофане, не разворачивая), не знаю, как другие кладбищенские служащие, но Шолу чувствовала разницу между этими цветами – цветы с отрезанными стеблями, купленные в киосках, пахли печалью, скорбью, тоскою, но когда дул ветер с моря, он словно уносил все эти горести и печали, и тогда по кладбищу распространялся аромат живых цветов.

Иногда Шолу казалось, что аромат этих цветов чувствуют и покойники, запечатленные на могильных камнях, их души тоже наслаждались этим запахом, и в тот весенний день, когда она мыла шваброй могильный камень покойного Мухтара киши, Шолу опять почудилось, что взирающий на нее с камня Мухтар киши улыбался, наслаждаясь цветочным ароматом, принесенным ветерком. Мухтар киши прожил семьдесят восемь лет и с фотографии, снятой уже в пожилом возрасте, он с хитрой улыбкой взирал на этот мир, который оставил сорок лет назад, видимо, был он кутила и весельчак. Под фотографией на камне были выбиты годы его жизни: 1888 – 1976, получалось, что Мухтар киши был, если так можно выразиться, старожилом этого кладбища, потому что это кладбище, прозванное в народе «Вороньим кладбищем», было заложено в середине 70-х годов – еще в советское время.

Кладбища этого города устарели – ни мест для захоронений уже не было, ни порядка никакого, всех хоронили, как придется, могилы копались впритык друг к дружке, и правили там только неграмотные, полуобразованные моллы и вороны, облюбовавшие себе деревья, возраст которых уже и невозможно было вычислить

Коммунистическое руководство, увидев состояние дел, решило создать образцовое кладбище, для чего была выделена земля в нижней части города – между холмом, прозванным в народе «Вороньим», и морем создали маленькое предприятие, выделили штатные единицы. Среди горожан это место получило название «Воронье кладбище», и хотя люди старались хоронить своих усопших на старом кладбище, рядом со своими предками, но и новое кладбище постепенно разрасталось. После распада Советского Союза здесь начались беспорядки, но постепенно все успокоилось, особенно когда директором кладбища стал Гияс-муаллим – после этого «Воронье кладбище» в самом деле превратилось в образцовое городское кладбище.

Могила Мухтара киши была единственной, при уборке которой на душе у Шолу становилось легко, вся печаль, осевшая у нее в душе за долгие годы работы на этом кладбище, улетучивалась, и сейчас Шолу, глядя на хитрую улыбку Мухтара киши, спросила его в душе: «Ну, как дела, мужик? Тебе и там весело, или нет?»

Эта кладбищенская печаль уходила на короткое время, но потом вновь возвращалась.

И тут раздался хриплый голос Гияс-муаллима, совершенно несовместимый с ароматом цветов, распространяемым весенним ветерком:

– Сулейманова!..

– Этот, по которому плачут мойщики трупов, зовет тебя... – сказала тетя Зиба, убирающая могилы двумя рядами ниже.

– Да, слышу... – сказала Шолу.

Шолу вспоминала свою фамилию только тогда, когда ее звал Гияс-муаллим.

– Так зовет, как будто он, по меньшей мере, замминистра... – это опять ругала Гияс-муаллима Зиба, в ее понимании, видимо, никакой другой вышестоящей должности вообще не существовало: «Подумаешь!.. Можно подумать, замминистра!..»

Тетя Зиба была горской еврейкой, но знала азербайджанский лучше азербайджанцев и работала тут со дня закладки кладбища, если и был кто-то, откровенно интриговавший против Гияс-муаллима, то это Зиба. По правде говоря, среди работников «Вороньего кладбища» никто особо не любил Гияс-муаллима. Этот смуглый, с большим носом, худощавый человек пятидесяти семи, пятидесяти восьми, а может, и шестидесяти лет с вечно невыглаженным воротником рубашки и одним и тем же старым галстуком, с острым кадыком на худой шее, покрытой морщинистой кожей, который ходил вверх-вниз, когда он глотал слюни, никогда не улыбался, по какой-то причине Бог не наделил его абсолютно никаким обаянием.

Раздался опять голос Гияс-муаллима, нарушая идиллию весеннего ветерка и цветочного благоухания.

– Сулейманова!..

– Иду, Гияс-муаллим, иду, – прокричала в ответ Шолу и лукаво улыбнулась и Мухтару киши, и даже самому Гияс-муаллиму.

Ее настоящее имя было Шёле (Şölə), и ей в голову никогда не могло прийти, что она когда-нибудь будет работать уборщицей на кладбище, но что в этом мире зависит от человеческого желания? Ничего. И если все подвластно времени, то над временем не властен никто, оно пролетает, как птица: уже десять лет, как она работает тут. Последние семь из этих десяти лет прошли под руководством Гияс-муаллима, а до этого на «Вороньем кладбище» чуть ли не каждый месяц меняли начальника, и никто не сомневался в том, что Гияс-муаллим будет начальником их маленького управления до конца своей жизни.

В обеденный перерыв, с часу до двух, Гияс-муаллим строго следил за тем, чтобы в это время все веники, швабры и другие орудия их труда были аккуратно сложены у стенки в коридоре, и когда работницы, разогрев принесенный из дома обед, садились есть, тетя Зиба говорила: «Этот сукин сын (то есть Гияс-муаллим) даже когда умрет, отсюда не уйдет, здесь его и похоронят».

– Тетя Зиба, – отвечала в шутку Шолу, – я помирю вас с Гияс-муаллимом.

– Вот еще! Да покарает его Бог! Можно подумать, он тебя ценит? С утра до вечера горбатишься тут! То эту могилку прибери, то там подмети!.. Ты хотя бы одно ласковое слово от него слышала, а? Жди, как же, услышишь!.. Когда я умру, он даже на поминки не придет!.. Ну и черт с ним! Ему лишь бы, – тетя Зиба передразнивает его: – «Сулейманова, где ты, иди помой тут все! Слушай, Ханукова, если еще раз опоздаешь, лучше больше не появляйся тут!..» Щас тебе!..

Ханукова – это фамилия тети Зибы (Гияс-муаллим всегда своих работников называл по фамилии), ей уже за семьдесят, может, поэтому, а может, и нет, она часто говорит о смерти. У нее было двое детей: сын Семен (Зиба часто говорила о нем: «Что мне нужно?! Ничего! Дай бог здоровья Семену!») переехал с семьей в Израиль и, по ее словам, работал там поваром в одном из больших ресторанов; благодаря азербайджанским блюдам, которые он готовил там – плов, долму, хаш, чыгыртму, дюшпере и гутабы – у дверей этого ресторана вечно стояла очередь, и дочка, которая вышла замуж за американского негра и жила в Пенсильвании. И дочь, и сын всё звали тетю Зибу к себе, но та не хотела никуда ехать: «Я жить вдалеке от Азербайджана не смогу!» – говорила она, и никто не сомневался в искренности ее слов. Семен не хотел, чтобы тетя Зиба работала уборщицей на кладбище, но та говорила, что она привыкла к этой работе, и Шолу казалось, что в этих словах есть какая-то печаль, ведь ее тут, на «Вороньем кладбище», не похоронят, в городе есть отдельные кладбища: еврейское, мусульманское и христианское, и как бы ни старалась советская власть на протяжении всех семидесяти лет ликвидировать такое разделение кладбищ, сделать это так и не удалось.

Шолу тоже была немолода, в этом году ей должно было исполниться пятьдесят лет, и она, как Зиба, тоже жила одна (вообще казалось, что это кладбище – приют одиноких людей), сын ее жил в России, служил в Барнауле полицейским, женился там на русской девушке, у них было двое детей, но Шолу еще не видела своих внуков – сын не приезжал, только писал письма: «как ты, в Новруз приеду...» Но эти обещания заканчивались тем, что он просто присылал на праздник подарок: платок, кофту или шерстяной джемпер, и каждый раз Шолу казалось, что сын ее втайне от жены откладывает деньги, чтобы потом так же втайне купить подарок и отослать ей.

У дочери ее дела шли неплохо, она была учительницей младших классов, семь лет назад закончила Педагогический университет и получила направление в один из районов республики, там и встретила врача-ветеринара, хорошего человека, вышла замуж, у них родилось двое детей, и Шолу два-три раза в год виделась с ними: по воскресеньям, когда ей не выпадало дежурство, она отпрашивалась у Гияс-муаллима на один день, заранее собирала гостинцы: печенье, московскую колбасу и другие городские вкусняшки и рано утром в субботу садилась на автобус, через пять часов доезжала до райцентра, там брала машину, которая и довозила ее до деревни, где жила дочь, на следующий день вечером она отправлялась в обратный путь, доезжала до Баку уже ночью, а утром к девяти часам была на работе.

– Где ты там, Сулейманова?

– Да иду я, Гияс-муаллим... иду... – поднявшись торопливо по откосу с шваброй в одной руке и с ведром, наполненным наполовину водой – в другой, она, запыхавшись, остановилась напротив Гияс-муаллима.

– Ты что, не слышишь, что Гияс-муаллим зовет тебя, – сказал он, держа в пальцах сигарету. Он всегда говорил о себе в третьем лице.

– Я вытирала пыль с могилы Мухтара киши...

– А ты ни о ком, кроме Мухтара киши, и думать не можешь, – сказал он, глядя на раскрасневшиеся от быстрой ходьбы полные, гладкие щеки Шолу, и сглотнул слюну, при этом острый кадык заходил под сморщенной кожей.

Гияс-муаллим, можно сказать, знал всех усопших на своем кладбище, кто в каком ряду лежит и какими соседями окружен. Обычно при упоминании Мухтара киши у всех работников кладбища на лице появлялась улыбка, только Гияс-муаллим всегда оставался неизменно серьезным, и сейчас он только протянул длинные худые пальцы к могиле, напротив которой стоял:

– Ты что, не видишь, как выросли ветки у этого оливкового дерева?

Это была могила пятидесятилетней – почти ровесницы Шолу – несчастной Сакины Нофель гызы, ветка оливкового дерева, растущего на краю могилы, протянулась прямо к могильному камню и загоразживала имя покойной.

– Почему ты не срезала эту ветку, – указывая сухими длинными пальцами на ветку и кашляя, сказал Гияс-муаллим. Это был не обычный кашель курильщика, видимо, он простыл.

– Гияс-муаллим, я хотела срезать, но потом подумала, что ее муж приходит сюда через каждые два дня, вот и решила вначале ему сказать, а потом уж...

Муж Сакины Нофель гызы действительно часто приходил навещать могилу жены и каждый раз приносил красные розы, которые аккуратно раскладывал на могильном камне, потом, встав напротив могилы и наклонив низко голову, почти полчаса (а иногда и дольше) стоял недвижно.

– Ладно, – подумав немного, кашляя, сказал Гияс-муаллим, вняв словам Шолу.

Шолу опять пошла вниз, к могиле Мухтара киши, чтобы, закончив там уборку, перейти к очередной могиле.

– Сулейманова!.. – опять послышался голос Гияс-муаллима сзади.

– Да, Гияс-муаллим... – остановившись, обернулась Шолу.

Гияс-муаллим вначале несколько раз сглотнул слюну, и даже на таком расстоянии было видно, как его кадык заходил вниз-вверх.

– Смотри, только не забудь!

– Не беспокойтесь, Гияс-муаллим.

Вытирая шваброй могильный камень Мухтара киши, она еще раз взглянула на его фотографию с улыбающимся лицом и подумала о том, что если бы завтра, в воскресенье, она не дежурила, то отпросилась бы у Гияс-муаллима и поехала бы повидать внуков. Так же, как и в поликлиниках и больницах, на кладбище еще с советских времен была шестидневная рабочая неделя, и правило это было введено не Гияс-муаллимом, но он ввел еще одно правило: каждое воскресенье кто-нибудь из уборщиц должен был обязательно выходить на дежурство и заниматься уборкой, чтобы поддерживать чистоту и порядок. Нельзя было пускать тут все на самотек – люди умирают, невзирая на дни недели, и Гияс-муаллим составил таблицу-расписание, по которой уборщицы по воскресеньям выходили на работу, и по нему завтра была очередь дежурить Шолу.

Морской ветерок угас так же неожиданно, как и появился, унеся с собой и запахи растущих цветов. Запахи уже увядших цветов, принесенных посетителями, опять смешались, Шолу показалось, что и деревья с уже с набухшими почками тоже как-то сникли оттого, что ветерок унес нежный запах весенних цветов, и их окутало невидимое темное покрывало печали, обычное для этого места и зимой, и летом, и днем, и ночью, и когда небо было чистым, и когда его заволакивали тучи, весеннее оживление и радость сменяла откровенная тоска.

А тут еще и Гияс-муаллим – кажется, он не на шутку простудился, кашель его усилился, и этот хриплый кашель, разносящийся по всему кладбищу, только усиливал тоску, словно вобрал в себя всю тоску, опустившуюся на это место. Штат работников «Вороньего кладбища» состоял из четырех уборщиц, рабочего, который поливал цветы и деревья, и начальника Гияс-муаллима, но, по словам тети Зибы, в советское время штат был намного больше, уж не знаю, правда это или нет, но тетя Зиба божится, что одна из уборщиц кладбища – сейчас она уже ушла в мир иной – была даже избрана депутатом городского совета.

Была в штате «Вороньего кладбища» еще одна штатная единица – охранник, и Гияс-муаллим, согласовав первоначально этот вопрос с руководством города, взял на себя эти обязанности, но эту дополнительную зарплату Гияс-муаллим брал не себе, а основал на кладбище «Благотворительный фонд» и переводил эти деньги на счет Фонда, руководителем, секретарем и бухгалтером которого тоже был он сам, и каждый праздник – Новый год, Новруз-байрам и в День Республики – он раздавал работникам от имени этого Фонда подарки.

Гияс-муаллим по всем правилам завел толстый «Журнал Фонда», куда записывал, кому какие подарки выдавались, их стоимость и дату выдачи, а работники при получении даров, расписывались в нем.

Порой Шолу подначивала тетю Зибу:

– Вот видишь, тетя Зиба, – говорила она, – он даже свою зарплату на нас тратит. Сам ходит, выбирает нам подарки. Что ты на это скажешь?

– Подумаешь, – отвечала Зиба. – А что за духи он мне подарил?! В советское время эти духи использовали мужские парикмахеры...

Шолу смеялась и думала (но не говорила вслух), что, видимо, старушке хочется французских духов. Даже если бы Гияс-муаллим купил бы для тебя французские духи, то куда они тебе, тетя Зиба?

Кажется, была еще одна причина, по которой Гияс-муаллим взял на себя должность охранника – он жил прямо тут, на кладбище: маленькое административное здание кладбища состояло из узкого коридора и трех комнат с такими же узкими дверями; первая была комната для уборщиц, вторую использовали как склад, там стояли ведра, веники, висела рабочая одежда, а третья комната была и кабинетом, и домом Гияс-муаллима.

Ровно в шесть часов – наблюдение за этим входило также в обязанности Гияс-муаллима – работники уходили домой, а Гияс-муаллим оставался на кладбище, и никто, даже тетя Зиба, не знал, почему этот человек такой одинокий, почему к нему никто не ходит? В обеденный перерыв, когда работники убивали время за болтовней, тетя Зиба говорила: «Разве не знаете, что на старом мешке новая заплатка не держится? Ему лишь бы нам приказы отдавать. Сукин сын, ведет себя, как замминистра!..»

2

Дом Шолу находился поблизости от кладбища – на другой стороне холма, недалеко от моря, – но кладбища оттуда видно не было, в противном случае ее муж тут дом строить не стал бы, покойный боялся кладбищ и всего, что касается смерти, и Шолу всегда думала: хорошо, что покойный не болел. Одиннадцать лет назад... нет, вот уже двенадцать лет назад он, как обычно, возвращаясь домой на метро, неожиданно умер, видимо, зная его страх перед смертью, Бог послал ему быструю и безболезненную смерть. Муж был старше Шолу на целых семнадцать лет, человек тихий, очень хороший телевизионный мастер, он зарабатывал по тем временам неплохо. Родом они были из одной деревни, он приехал домой, сыграл свадьбу и увез Шолу с собой в город, ей тогда было восемнадцать лет, вначале они жили на квартире, потом покойный купил тут участок земли и сам построил дом – человек он был трудолюбивый и руки у него были золотые. Умер он неожиданно и не увидел, как жизнь вдруг резко изменилась в худшую сторону, будто ждала, когда он покинет этот мир...

В тот весенний день, когда она вошла во двор, ее встретило куриное кудахтанье, – Шолу держала кур, – старая черная курица, кудахча, встретила ее недовольным взглядом.

– Глупая, это же я!.. – сказала Шолу и рассмеялась.

На самом деле, трудно на всем свете найти более глупое существо, чем курица – а эта старая черная курица, которая жила у Шолу с рождения, ела из рук Шолу зерно, хлеб, тем не менее не признавала свою хозяйку: каждый вечер, когда Шолу возвращалась домой, она, задрвав голову, недовольно окидывала её взглядом.

Накануне Шолу готовила котлеты, две из них она сегодня взяла с собой на работу, а две другие – оставила на ужин, но в этот весенний вечер котлет ей не хотелось, она прошлась немного по своему хозяйству и пошла в баньку; натирая себя мочалкой, она опять вспомнила с детства врезавшийся в память тот красивый цветущий луг на склоне горы, луг, мимо которого протекала их деревенская речка Дурчай. Летом, когда Шолу было 14-15 лет, она, сидя на берегу, мыла ноги, и иногда, когда она краешком глаза замечала мальчишек, ее ровесников, которые, прячась за деревьями, наблюдали за ней, делала вид, что не видит их, и задирала подол своего платья еще выше, поглаживая мокрыми руками ляжки, и ее белая гладкая кожа сверкала на солнце.

3

К утру дым и копоть от проезжающих мимо машин и работающих заводов и фабрик рассеивался, и можно сказать, что Шолу каждый день – по меньше мере, в моей памяти это запечатлелось именно так, – встав с постели, первым делом открывала окно, выходящее на улицу (во дворе и по утрам пахло курами), и, выставив вперед упругие, словно мячи, груди, глубоко вдыхала запах моря.

И то воскресное утро началось точно так же.

Из того окна моря видно не было, но по ночам, когда, раздевшись, Шолу ложилась в постель, она крепко закрывала глаза и, чтобы в голову не лезли разные мысли, слушала гул морских волн, отчетливо слышавшийся в ночной тишине, так под этот звук и засыпала.

Впервые увиденное ею в восемнадцать лет море стало ей родным и близким, его звуки сопровождали ее и днем, и ночью.

В то воскресное утро, когда Шолу пришла на работу, она не увидела Гияс-муаллима, стоящего, как обычно, у ворот, поглядывая на часы (он всегда стоял у ворот и следил за тем, приходят ли дежурные на работу вовремя), и, хотя Шолу уже десять лет работала тут, мертвая тишина и безлюдье на кладбище в это весеннее утро наполнили ее душу страхом. Она поспешила к зданию администрации и, войдя туда, услышала кашель Гияс-муаллима, от этого все ее страхи мигом улетучились – если Гияс-муаллим тут, значит, все в порядке, кладбище не безлюдно, а стало быть, и бояться нечего.

Шолу сняла куртку, надела свой синий рабочий халат и, пройдя во вторую комнату, взяла ведро и швабру. В кладовке кашель Гияс-муаллима слышался еще сильнее, кажется, начальник заболел серьезно, но она не решилась постучаться в его комнату и спросить, как он себя чувствует.

Да, все страхи ее ушли, но легче ей стало только после того, как она, протирая надгробные памятники, подошла к могиле Мухтара киши и спросила громко:

– Ну, здравствуй. Как у тебя с настроением сегодня, хорошо все?

И тут ей подумалось: может, в этой тишине, когда вокруг ни души, Мухтар киши на самом деле ответит ей с небес (по ее коже побежали мурашки), что тогда делать? Убежать или закричать и позвать Гияс-муаллима?

Шолу посерьезнела и начала вытирать влажной тряпкой и без того чистое надгробье Мухтара киши, она была напугана неожиданно появившейся у нее мыслью и старалась не смотреть на улыбающееся лицо Мухтара киши, и впервые у нее промелькнула мысль: «А этот Мухтар киши – человек все же бесстыжий...» Она рассердилась на себя за такие мысли, более того, у нее в душе зародилось какое-то беспокойство – если духи на самом деле существуют, наверное, они могут и мысли читать – но Шолу не хотела, чтобы Мухтар киши на нее обиделся и сказала мысленно: «Ладно, Мухтар киши, это была шутка...» Потом она начала ворчать про себя: вот, надо же прийти сюда в воскресенье и думать про такие глупости, а тетя Зиба, наверное, сейчас по скайпу (это слово она узнала от тети Зибы) разговаривает с Семеном, ты только подумай, какой он сын, приехал, купил тете Зибе компьютер, научил ее пользоваться скайпом. Старухе сто девяносто лет, а она этот компьютер знает вдоль и поперек, а Шолу до сих пор толком не умеет мобильным телефоном пользоваться. Ее вдруг стал распирать смех: если бы тетя Зиба узнала, сколько лет она ей приписала, она бы больше никогда на стала бы с ней здороваться и начала бы такую интригу против Шолу, что ее козни против Гияс-муаллима просто померкли бы.

Ей вдруг захотелось, чтобы с моря опять подул ветерок, принес запах распустившихся весенних цветов и деревьям с набухшими почками стало бы веселей – но где он, этот исполнитель желаний человеческого сердца? Существует ли такая сила? А из-за того, что Гияс-муаллим сегодня не обходил могилы, куря одну за другой сигареты, запах увядших цветов на «Вороньем кладбище» казался еще более тяжелым и стойким.

Никто из работников «Вороньего кладбища» не видел, чтобы Гияс-муаллим что-нибудь готовил себе, или стирал, или даже пил чай. Во время обеденного перерыва он уходил к себе в кабинет, закрывал дверь, и все думали, что он все свои дела делает или рано утром, до девяти часов, или вечером, после шести. В тот воскресный день, вытерев памятник Мухтара киши, Шолу начала переходить от памятника к памятнику, вытирая и приводя их в порядок, но из-за отсутствия Гияс-муаллима на территории кладбище казалось одиноким и бесхозным. Шолу прошла по рядам и

вышла к задней стороне административного здания, посмотрела в сторону окна начальника, но окно так плотно было занавешено, что увидеть что-то было невозможно.

Неважно, хороший был Гияс-муаллим или плохой – Бог ему судья, но все же он человек. Шолу прошла к входу в здание, опустила на землю ведро, наполовину наполненное водой, прислонила швабру к стенке и прошла внутрь, постояла в узком коридоре. Послышался хриплый кашель Гияс-муаллима, затем все стихло, и в здании наступила нехорошая тишина. Шолу сделал пару шагов к кабинету и остановилась у самых дверей; вновь послышался хриплый кашель Гияс-муаллима.

Не все же тихо умирают в метро...

Вдруг ее охватило волнение, она и сама не поняла, как постучала в дверь:

– Гияс-муаллим!.. Гияс-муаллим!..

Ответа не последовало.

– Гияс-муаллим!.. – с еще большим волнением и испугом позвала она. – Это я, Шолу...

Гияс-муаллим не отвечал.

Охваченная страхом, она толкнула дверь, которая оказалась незапертой и со скрипом открылась.

Гияс-муаллим сидел в трусах и майке на краю старого дивана, который служил ему кроватью, и, держа в костлявых пальцах сигарету, ладонью вытирал слезящиеся глаза и текущий нос, в комнате стоял густой дым от сигарет. Шолу показалось, что она находится в каком-то нереальном мире, и все, что она видит, происходит не здесь, а в том загадочном мире. И голос Гияс-муаллима, казалось, звучал не на «Вороньем кладбище», а из того непонятного мира:

– Шолу...

Впервые Гияс-муаллим назвал ее по имени, и то, что впервые за семь лет он произнес ее имя, вернуло Шолу из того странного и непонятного мира в реальность. Быстрыми шагами она прошла к окну, отдернула занавеску, взялась за ручку и с силой дернула её на себя, окно со скрипом открылось, может, впервые за семь лет.

Затем она подошла и встала перед Гияс-муаллимом.

– Что случилось, Гияс-муаллим? – спросила она с еще не прошедшими волнением и страхом.

Дым в комнате стал рассеиваться, и стало четко видно, как Гияс-муаллим блестящими влажными глазами смотрит на Шолу. Ее охватило волнение, перед глазами вдруг встала ее черная курица с вечно недовольным взглядом, но во взгляде Гияс-муаллима не было недовольства, напротив, только откровенная печаль и беспомощность.

Гияс-муаллим какое-то время смотрел на Шолу.

– Шолу, – сказал он дрожащим голосом. – Какая разница между мной и уличным псом?.. А?! Ну скажи, скажи, какая разница?..

От этих слов голова Шолу вообще пошла кругом, она совсем растерялась.

– Как уличный... – хриплым и все больше дрожащим голосом говорил Гияс-муаллим. – Как уличный пес... если упаду и умру... кто об этом узнает, а?.. Кто?.. Никто...

Вдруг Гияс-муаллим схватил Шолу за руку, и она на своей полной гладкой руке ощутила пропахшее сигаретами дыхание Гияс-муаллима, казалось, это дыхание исходило из какого-то другого существа и как легкий морской бриз скользило по коже. Он притянул Шолу к себе, и она села рядом с ним на диван, под весом упитанного упру-

гого тела Шолу старый, оставшийся еще с советских времен диван издав жалкий звук, просел. Гияс-муаллим уткнулся головой в полные, теплые груди Шолу, закрыл глаза, от дыма сигареты, которую он продолжал держать в пальцах, ее глаза начали слезиться, Шолу как-то ослабела, сердце ее сжалось, и слезы потекли уже от жалости.

Чем сильнее худое тело Гияс-муаллима жалось к Шолу, тем сильнее она чувствовала, как бьется его сердце под торчащими ребрами.

Прошло какое-то время, потом Гияс-муаллим хриплым, но уже не дрожащим голосом сказал:

– Шолу...

– Что...

– Завтра... Пойдем завтра в загс!..

4

В то воскресенье Шолу вернулась домой к десяти часам вечера.

Куры, так и не дождавшись хозяйку, заснули в курятнике голодные, когда Шолу вошла во двор, они ворчливо покудахтали немного и умолкли.

Шолу открыла во дворе кран, ополоснула руки и мокрыми руками провела по лицу, ей вспомнилась речка Дуручай, протекающая мимо цветущих лугов, даже показалось, что эта вода, которой она сейчас умылась, вода не из крана, а из их прохладной речки. Давно она уж не вспоминала Дуручай, луг, который она огибала, и то, как четырнадцати-пятнадцатилетней девчонкой мыла ноги в ее водах, все это осталось далеко в прошлом. Ей подумалось: «Да, все это так, но это жизнь и всякое бывает...»

Шолу постояла немного, задумавшись, потом, не проходя в дом, села у на деревянную табуретку возле крана.

Небо было чистым, светил месяц, кое-где блестели звезды, и в этой тишине слышен был только гул морских волн.

Шолу вспомнила мужа Сакины Нофель гызы, который через каждые два дня приходил на кладбище к жене, приносил красные розы и аккуратно раскладывал их на могиле, и подумала, что если завтра или послезавтра он опять придет с красными розами, надо спросить у него разрешения срезать ветку с оливкового дерева.

Что же касается тети Зибы, конечно, она будет ошарашена. Дай ей, Господи, долгой жизни, пусть живет больше ста девяноста лет, но если она когда-нибудь умрет, то Гияс-муаллим обязательно пойдет на ее поминки.

Потом Шолу подняла голову, поглядела на луну, звезды, и вдруг ей показалось, что Мухтар киши смотрит на ее с неба и улыбается.

Губы Шолу в ответ тоже дрогнули в улыбке.

Миссия

Памяти Мусы Намазова

...затем он снова улыбнулся: это утро будет таким же, как все остальные. Как всегда, он встанет с постели, как всегда, примет прохладный душ, потом пройдет на кухню и, как всегда, заварит зеленый чай, намажет масло на ломтик черного хлеба

и положит на него кусочек сыра, как всегда, со стаканом горького чая съест свой бутерброд. И, как всегда, чтобы не разбудить Фирузу, осторожно выйдет из дома и отправится в университет... Только... только теперь не все, как всегда. Прежняя жизнь навсегда осталась в прошлом. Теперь для Сафи Гадирли – философа, кандидата физико-математических наук – начинается новая жизнь. И не только для него, но и для всего человечества, новая жизнь, которой никто не мог и представить.

Очнувшись от короткого сна в кресле за письменным столом, – на самом деле это был даже не сон, а состояние между сном и бодрствованием, дремота, – Сафи Гадирли откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и, раскинув руки в стороны, потянулся, чтобы размять мышцы. Он посмотрел на спящую в кровати Фирузу и словно впервые заметил в ее каштановых волосах серебряные нити, на мгновение его сердце сжалось, но тут же отпустило, потому что в появившейся проседи в любимых волосах Фирузы уже ничего тревожащего не было, и еще потому, что теперь все было ясно – этой ночью, этой незабываемой ночью, философ, кандидат физико-математических наук Сафи Гадирли после многих лет научных поисков, расчетов, а по сути, после научных пыток и потрясений, наконец узнал, в чем состоит миссия человека а, в целом, и жизни, в этом мире.

Сафи Гадирли снова вспомнил траурную церемонию, свидетелем которой он стал много лет назад: молодой человек, живший по соседству, утонул в море. Когда его тело нашли и привезли домой, в квартире поднялся такой крик, что ученик восьмого класса Сафи пришел в ужас: если люди умирают, тогда в чем смысл жизни, если есть смерть, то как люди могут смеяться, почему они учатся, работают, достигают невероятных высот, ведь впереди их всех все равно ждет смерть? Все заканчивается, человек должен исчезнуть, превратиться в ничто, а он тешит себя пустыми надеждами, обманывает себя, что будет жить в прекрасных воспоминаниях, и не понимает, что по сравнению с миллиардами лет эти воспоминания и гроша ломаного не стоят, эти воспоминания бессмысленны и ничтожны.

Сафи Гадирли, уже в раннем детстве сильно отличавшийся от своих сверстников, в четыре года выучил азбуку и начал читать книжки не по возрасту, во втором классе с легкостью решал математические задачи для шестых, седьмых, а иногда и восьмых-девятых классов, пережив ужас тех траурных дней, разрушивших весь его внутренний мир, с ужасом всматривался в лица людей и задавался вопросом: разве эти люди не знают, что существует смерть, разве они не понимают, что такое смерть, как они могут спокойно спать, ходить на работу, есть, пить, ведь всех их ждет полное забвение!

Столкнувшись с этой мучающей и всеразрушающей проблемой лицом к лицу, Сафи Гадирли ни с кем не мог поделиться своими мыслями, лишь по ночам, когда ложился в постель, он неожиданно для самого себя начал делиться своими переживаниями с Богом, задавал ему вопросы в надежде получить ответы, которые могли бы хоть как-то удовлетворить его, но утешения никакого не было, и каждое утро он открывал глаза, охваченный жутким страхом и тревогой.

Никто не знал о беспомощных и отчаянных переживаниях, раздирающих Сафи, только учитель физики Мовсумзаде почувствовал что-то неладное: «Что с тобой происходит?», и Сафи, ученик восьмого класса, словно только и ждал этого вопроса, внезапно, задышавшись, заплакал навзрыд. «Мы все умрем...» Такое состояние любимого ученика очень удивило Мовсумзаде, и он попытался его успокоить: «Жизнь дана человеку, чтобы жить, и ты должен честно прожить эту жизнь, стать достойным гражд-

данином своей Родины и оставить о себе хорошие воспоминания, чтобы тебя вспоминали с добром», но сам Мовсумзаде понимал, что все эти слова пусты, не имеют никакого значения и уж точно не помогут Сафи справиться с тем потрясением, которое он переживал в душе. «Послушай, – сказал он, – у знаменитого американского писателя Джека Лондона есть рассказ «Любовь к жизни», я расскажу тебе о нем». И действительно, эта история тронула Сафи больше, чем все предыдущие слова Мовсумзаде, а в конце Мовсумзаде сказал: «Я знаю, ты будешь великим физиком, большим ученым, в этом нет никаких сомнений, когда ты поступишь в университет, и начнешь глубже изучать физику, ты увидишь, что наука объясняет все». В девятом классе Сафи сдал все экзамены экстерном и окончил школу с отличием, стал самым юным студентом республиканского университета. Учась на физическом факультете, он убедился, что физика действительно объясняет все, вплоть до закона, по которому яблоко, оторвавшись от ветки, падает на землю.

Студент третьего курса Сафи больше не разговаривал с Богом, потому что физика давала ответы на все вопросы, и для него, вновь сдавшего на четвертом курсе все экзамены экстерном и окончившего университет раньше своих сокурсников на год, тайн больше не было, его научные статьи публиковались не только в Азербайджане, но и в самых влиятельных научных журналах зарубежных стран, во многих университетах мира, даже в Гарварде, они становились предметом обсуждения.

Аспирант Сафи Гадирли стал получать письма от лауреатов Нобелевской премии Джерома Айзека Фридмана (США), Пьера Джил де Джена (Франция), Жореса Алферова (Россия), Масатоси Косиба (Япония) и других известных ученых, и интерес этих великих физиков к его научным исследованиям и идеям распространился по всему Азербайджану, но чем больше Сафи Гадирли занимался теорией и философией физики, чем больше углублялся в физику, тем его собственные знания становились все более беспомощными, потому что в этих глубинах всплывали такие вопросы, перед которыми и физика, и математика были беспомощны. Защитив кандидатскую диссертацию и став кандидатом физико-математических наук (эта защита также получила отзыв в международном научном мире!), Сафи Гадирли встретил Фирузу, они поженились, и в одну из прекрасных ночей, глядя на мирно спящую рядом Фирузу, на ее красивое лицо, на ее полные, белые и теплые груди, он подумал, как когда-то, будучи учеником восьмого класса: почему этот безгрешный и любимый им человек, полный чистоты и изящества, пришел в этот мир и почему должен умереть? Что останется от стихов Фирузы, или даже от самой Сафо через тысячу лет, десять тысяч лет и миллионы лет? Но миллионы лет для Вселенной меньше одной миллионной доли секунды. Неужели с самого момента сотворения мира миллиарды потомков таких же фируз только для того рождаются на свет, размножаются и умирают, чтобы спасти и сохранить человеческий род, и все?

В ту ночь такое объяснение смысла жизни показалось Сафи Гадирли очень наивным – тогда почему иной младенец появляется на свет и через три дня уходит из него? Природа проводит селекцию, естественный отбор? Почему? Какова цель? Что собой представляет такая абстрактная «природа»? Вопросы, которые соответствовали уровню мышления восьмиклассника Сафи, вновь всплыли и потрясли еще молодого, но уже известного в мире науки физика Сафи Гадирли. Потому что ни физика, ни математика, ни астрономия ничего не могли объяснить. Он не мог найти объяснения жизни в науке – ни в материализме, ни в идеализме, ни в любом другом «лизме». В чем разница между жизнью людей, проживших всего три дня, и жизнью

людей, проживших сто лет, ведь если они были рождены и пришли в этот мир, то у них должна быть какая-то миссия, в чем же заключалась эта миссия?

Эта простая мысль оказала на Сафи Гадирли впечатление великого открытия, От Аристотеля до Галилея, который опроверг его, от Ньютона, Фарадея до Эйнштейна, Бора, Ландау все великие (и невеликие) физики и математики фактически искали суть миссии человека и в целом смысла бытия на земле и не нашли того, что искали – воображение увело их далеко, но истина была еще дальше.

Только узнав, в чем заключается эта миссия, можно будет дать ответ на вопрос «Что такое Вселенная?», можно будет определить, какая сила контролирует эту Вселенную (видимую и невидимую, существующую и несуществующую), может быть, это не сила, а что-то иное, не поддающееся человеческому пониманию. Гадирли вспомнил, что прежде, чем сделать очередной ход в шахматах, человек обычно долго думает, и только после долгих раздумий игрок обычно возвращается к своей первой мысли, которая у него возникла в самом начале, и делает именно этот ход. Какова миссия человека, а в целом и всей Вселенной? – в этом вопросе нет ничего нового, но в ту ночь этот вопрос для Сафи Гадирли насколько был обыденным и простым, настолько же и глубоким. Этот вопрос словно затягивал его на дно колодца, где царилась кромешная тьма.

И в эту ночь Сафи Гадирли всем своим существом окончательно уверился в том, что до сих пор законы физики были чем-то вроде человеческого эмбриона, только начавшего жить, находящегося на начальной стадии своего развития в утробе матери, и родиться этот эмбрион мог исключительно после полного формирования. В чем цель жизни? – чтобы найти ответ на этот простой, на первый взгляд, вопрос, необходимо было преодолеть пределы существующих научных парадигм, и только тогда можно будет чего-то достигнуть.

2

После той ночи прошло много лет, и все эти годы для Сафи Гадирли прошли в создании и открытии тысяч формул и их решений, эти формулы и поиски их решений находились в постоянном движении, вытесняя друг друга, стирая одни и формируя другие. Сафи Гадирли записывал свои расчеты в тетрадь и всегда носил эту тетрадь с собой, потому что новые идеи приходили в совершенно неожиданных местах – в автобусе, в аудитории университета или на заседании Научного совета и т.д. Все формулы, которые формировались в его мозгу, и их решения он записывал в эту тетрадь, а когда она заполнялась, он убирал ее в шкаф, который был заполнен такими же исписанными тетрадями, и брал новую.

В мире науки не знали о новых формулах и расчетах, которыми были исписаны эти тетради, даже академик Султан Султанлы не знал, чем занимался Сафи. Гадирли был убежден: проблема, которая поглотила его, настолько невероятна, что если не будет весомого результата, всерьез это никто не воспримет, скажут, что это просто «донкихотство» – нужен результат, а многолетние расчеты пока ничего не дали, уже в любимых каштановых волосах Фирузы появилась седина, а Сафи Гадирли все еще не мог уцепиться за нить, которая вывела бы его к настоящему Большому Результату, были мелкие подвижки, но они не приближали его к конечной цели.

Отсутствие значимых результатов иногда вызывало отчаяние, в такие минуты не только его сознание, но и каждая клеточка его тела протестовала против этой

безнадежности, он был подавлен, появлялись новые идеи, выводились новые формулы и их решения, затем другие, более новые идеи, сменяли старые.

Однажды Сафи Гадирли забыл очередную тетрадь на столе на кафедре, и когда на следующий день он пришел в университет, заведующий кафедрой академик Султан Султанлы, в советское время бывший действительным членом Академии наук СССР, вытащил ее из своего сейфа. «Я нашел эту тетрадь на столе, – сказал он. – Прости, но я не смог остановиться и посмотрел твои записи... Очень жалею, что сделал это... До поздней ночи я сидел на кафедре, пытаюсь понять что-то из этих расчетов, но я так ничего и не понял». Потом какое-то время он молча смотрел на Сафи Гадирли, но тот тоже молчал, и Султан Султанлы так же молча протянул ему его тетрадь.

Академик Султан Султанлы, как и другие ученые, был немного завистлив, но талант Сафи Гадирли был такого масштаба, что ревность была невозможна, либо ты должен стать Сальери, либо должен гордиться таким талантом, и Султан Султанлы с первых же дней заметил необычные способности своего студента, видя в нем настоящего, увлеченного физика, он стал все больше и больше испытывать чувство гордости за него, и это чувство постепенно перетекло в признание и даже в поклонение перед его научным авторитетом. Султан Султанлы был абсолютно уверен, что его ученик Сафи был гением, с самого рождения закодированный на физику, этот студент не изучал уже известные законы физики, он сам их заново открывал и смотрел на это, как на что-то естественное, как будто так и должно было быть.

Султан Султанлы был очень рад, когда Сафи экстерном окончил университет и в течение года успешно защитил кандидатскую диссертацию, и глубоко опечален неожиданным творческим затишьем после этого. Сафи Гадирли пригласили преподавать в университете, с интересом ожидаемая в научном мире докторская диссертация Сафи была заброшена, за много лет он не написал ни одной новой статьи. И когда Султанлы спрашивал бывшего ученика: «Когда вы принесете хотя бы одну статью?», Сафи Гадирли лишь уклончиво отвечал: «Посмотрим...»

Коллеги думали, что талант Сафи Гадирли иссяк, это был вундеркинд, блеск которого остался в прошлом, его сил, как и у многих других вундеркиндов, хватило только на один шаг, а Сафи Гадирли продолжал молчать, письма от ученых из США, Великобритании, России, Турции, Пакистана, Японии, Израиля все поступали, всех интересовал вопрос: г-н Сафи Гадирли, почему нет никаких известий о ваших исследованиях? Но и эти письма оставались без ответа, и только академик Султан Султанлы чувствовал, что Сафи Гадирли работает над какой-то большой проблемой, но иногда даже ему казалось, что его питомец потерян для физики навсегда.

И только Фируза... только у Фирузы не было и тени сомнения, она была уверена, что Сафи найдет то, что ищет. Фируза не понимала сути того, что искал Сафи, потому что для этого у нее не было ни технических знаний, ни желания, она просто знала, что Сафи находился в большом научном поиске, о котором он никому ничего не говорил, эта красивая и элегантная женщина была очень далека от формул и математических вычислений (критики называли её «душевной, романтической поэтессой»), и ее душа всегда пребывала в мире поэзии. Она хотела посвятить всю себя поэзии, поэтому у них не было детей, но на протяжении всех этих лет своей поэзией Фируза поддерживала Сафи Гадирли – во всяком случае, она была в этом уверена. Однако проблема заключалась в том, что стихи, которые Фируза посвящала Сафи, и которые она по понятным причинам не давала в печать, не приносили никакого об-

легчения уму Сафи Гадирли, наполненному формулами, цифрами, размышлениями, не давали передышки в поисках новых идей – родства и единения между поэзией и физикой не было. Конечно, Фируза не знала о такой нестыковке, потому что Сафи Гадирли очень любил Фирузу и не мог неосторожным словом разрушить ее тонкий поэтический мир.

С некоторых пор Фируза переводила стихи греческой поэтессы Сафо из Митилен на азербайджанский язык, и это была очень тяжелая работа. Легенда гласит, что Сафо покончила с собой, бросившись с Левкадских скал от неразделённой любви к паромщику Фаону, а для Фирузы Фаоном была поэзия.

Дни и ночи напролет Фируза жила мыслями о Сафо, но, несмотря на это, посвящала стихи и Сафи, читала их ему, желая морально поддержать его. А Сафи Гадирли слушал эти стихи, борясь в голове с цифрами, и когда она заканчивала читать, он, не произнося ни слова, улыбался и целовал ее нежную руку. Нежность этого поцелуя примешивалась к любовной поэзии Фирузы и разливалась по всему её существу, и она с еще большим поэтическим энтузиазмом начинала переводить Сафо.

И вчера вечером, перед сном, удобно устроившись в кровати, Фируза прочитала ему новое стихотворение, посвященное Сафи:

*и волны вторят мне
безмолвно
найдешь, что ищешь ты,
любимый мой,
а то
и солнце не взойдет, и утро не наступит
мрак и холод
стихам останутся
и ветер вторит мне
безмолвно
найдешь, что ищешь ты,
любимый мой,
любовью к людям пылаешь ты
со мною вместе
души живущих
день и ночь
молитвы за тебя возносятся*

Сафи Гадирли вновь взял в свою руку нежную руку Фирузы и поцеловал, но внезапно грусть-тоска охватила его – раньше такого с ним не происходило, – потом математические формулы и символы, которые всегда занимали его, растаяли, как воск горящей свечи, и потекли куда-то, ум освободился от многолетнего напряжения, впервые, начиная с тех пор, как он начал изучать физику, его мозг был свободен от цифр и формул, и эта пустота настолько потрясла его, что ему показалось, что это конец всех зря прожитых лет, а на самом деле и конец всей его жизни.

Фируза не заметила потрясения мужа, да и перевод Сафо так изматывал ее, что, прочтя стихотворение, она улыбнулась, зевнула и сразу же заснула.

Сафи Гадирли некоторое время находился в транс между бытием и небытием, и после выхода из этого состояния он уже знал, в чем заключается миссия человека

(и всей жизни, даже Вселенной!) на земле: результат долгих вычислений и решений был у него перед глазами.

До чего же все было просто.

И как же близко находился ответ.

Словно все эти годы он искал очки, которые были у него на носу.

В мозгу Сафи Гадирли тонкий луч света цвета только что пробившегося из почки листа осветил формулу Большого результата, и этот зеленый лучик, постепенно оживая, стал освещать математические формулы и символы, как будто свет, исходящий от зеленого листа, появился не в голове Сафи Гадирли, а на театральной сцене, и в этой игре было что-то до такой степени родное, интимное, что за всю свою жизнь ни с кем, даже с Фирузой, он не чувствовал такого родства.

Сафи Гадирли ощутил во всем своем существе необыкновенную свободу, невесомость и прозрачность, не было чувства боли или какого-либо движения, он полностью был погружен в себя, он мог с легкостью взлететь и приземлиться, куда захочет.

Сафи Гадирли встал из-за письменного стола и вышел на балкон своей квартиры на пятнадцатом этаже.

На весеннем ночном небе ярко светили луна и звезды.

Раньше эти близкие и далекие звезды рассказывали о мирах, полных тайн.

Теперь тайн никаких не было.

Сафи казалось, что если он пожелает, то может полететь на одну из этих звезд и, подняв лицо к небу, он с иронией посмотрел на эти звезды, больше он не чувствовал себя беспомощным перед этими огромными далекими звездами.

Эйфория одержанной победы охватила Сафи Гадирли, ему даже захотелось позвонить академику Султану Султанлы.

Но было три часа ночи.

Все равно завтра всему человечеству все станет известно.

Завтра обязательно нужно провести пресс-конференцию на кафедре.

Сафи Гадирли вернулся в комнату.

Фируза сладко спала.

Он не стал ложиться, сел за письменный стол.

Никогда еще он не писал письмо с таким трепетным волнением, испытывая при этом невероятную свободу и удовольствие.

3

В то утро Сафи Гадирли, потягиваясь за письменным столом и испытывая чувство наслаждения, встал и, как всегда, чтобы не разбудить Фирузу, бесшумно умылся, оделся, но пошел не в университет, как обычно, а направился в чайхану на Приморском бульваре. Он пока что был единственным человеком, который достиг результата Большого Поиска. Ему хотелось хотя бы полчаса побыть один на один с этой ценностью на берегу моря. Он снова и снова хотел видеть, как символы и цифры в ярком зеленом свете, сменяя друг друга, выливаются в результат Большого Поиска, словно это было театральное шоу.

Сафи Гадирли и раньше иногда приходил в эту чайхану. Летом, сидя за столом в тени ивового дерева, он продолжал мысленно производить расчеты.

– Здравствуйтесь, муаллим, – сказал чайханщик Алифага. – Давненько вас не видно.

– Здравствуй, здравствуй, – ответил Сафи Гадирли, улыбаясь, и протягивая ему руку. – Как поживаешь?

Чайханщик Алифага знал Сафи Гадирли как необщительного, одинокого клиента, человека всегда задумчивого, который, выпивая чай, все время глядел куда-то вдаль, иногда доставал из кармана свою тетрадь и вносил туда какие-то заметки. И то, что его клиент был сегодня в отличном настроении и протянул ему руку для приветствия, подняло настроение чайханщику. «Дай Бог, сегодня будет хороший день!...» – подумал чайханщик и с особым старанием вытер стол под ивовым деревом:

– Прошу вас, муаллим, садитесь!

Глядя на чайханщика Алифагу, Сафи Гадирли подумал: неужели его жизнь, начиная с сегодняшнего дня, полностью изменится, неужели, когда он узнает о своей миссии в этом мире, все его заботы, печали и радости покажутся смешными и бессмысленными по сравнению с Великой Миссией.

В то весеннее утро с моря дул легкий бриз, и шум морских волн, смешиваясь с шелестом листвы ивового дерева, увел мысли Сафи Гадирли к ученику восьмого класса Сафи, к тем незабываемым минутам, когда Мовсумзаде говорил о рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни». Позже, когда он был уже студентом первого курса университета, он прочитал, что Джек Лондон покончил жизнь самоубийством, и тот факт, что писатель в возрасте сорока лет, написавший такое произведение, как «Любовь к жизни», сам сводит счеты с жизнью, ошеломил его, и вместе с этим им овладело ужасное чувство беспокойства и страха. Сафи Гадирли, наслаждаясь с любовью заваренным чайханщиком Алифагой чаем, вспомнил это и улыбнулся: в этом мире больше ничего удивительного нет, сегодня же нужно провести пресс-конференцию и объявить о результатах Большого Поиска всему миру – откладывать это нельзя.

Конечно же, в первую очередь результат Большого Поиска нужно записать на доске на кафедре и показать его Султану Султанлы. Подумав об этом, Сафи Гадирли представил себе лицо академика, смотрящего на результаты поиска, на самом деле через изумленные глаза Султана Султанлы на доску, исписанную формулами и расчетами, смотрел весь научный мир физики, все человечество.

Полученный в области физики этот Большой Результат, насколько был жизненно важным для человечества, настолько же был и прост, и не было никакой необходимости в специальных объяснениях: все, независимо от возраста, национальности, религии или расы, поняли бы этот Результат так же легко, как человек начинает дышать, появившись на свет.

В то летнее утро звук тихого плеска морских волн о бетонное ограждение находился в гармонии с мыслями и размышлениями Сафи Гадирли, он вспомнил вчерашнее стихотворение Фирузы, и оно теперь представлялось в совершенно другой форме – и ветерок, и волны действительно нашёптывали эти строки.

Фируза думала, что эти слова она сочинила сама, на самом деле эти слова диктовало ей её подсознание, те его слои, о существовании которых не подозревала ни Фируза, ни Сафо Митиленская, ни миллиарды людей, которые рождались и умирали в этом мире. Энергия всего человечества, включая этого толстого чайханщика, на протяжении всего этого времени сопровождала Сафи Гадирли, и у этой энергии не было никакого противостояния между позитивным и негативным, потому что и отрицательное, и позитивное так же хотели знать, какова их миссия в мире, и это великое желание с самого начала было скрыто в глубоком подсознании людей.

Но так было только до сегодняшнего дня!

В эту минуту Сафи Гадирли увидел человека, который вышел из-за деревьев и медленными шагами направлялся в сторону чайханы. Пройдя мимо пустых столов, он подошел к столику Сафи Гадирли и сел напротив него.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, здравствуйте! – все в таком же приподнятом настроении поздоровался Сафи Гадирли с незнакомцем.

Правда, они не были знакомы, но Сафи Гадирли показалось, что он встречал его раньше, и глядя на этого со вкусом одетого человека, в его большие зеленые глаза на симпатичном, но несколько увядшем лице, на его начинающие седеть волосы, аккуратно зачесанные назад, Сафи пытался вспомнить, где раньше его видел.

Сафи Гадирли и этот человек смотрели друг на друга, между ними возникала напряженная тишина.

– Как дела? – сказал Сафи Гадирли, видимо, чтобы нарушить эту тишину.

– Как всегда... – ответил незнакомец, и Сафи Гадирли почувствовал в этом голосе грусть, которую тот пытался скрыть, но в то же время в голосе этом было что-то родное и притягательное.

Сафи Гадирли показалось, что и тоска, и грусть, и родство, и притягательность – все слилось во взгляде этих больших зеленых глаз человека, сидящего напротив него, и в это мгновение эти большие зеленые глаза засветились нежным светом.

В эту самую минуту вся духовная и физическая составляющая Сафи Гадирли, превратившись в жидкость, покинула его оболочку, и холодный пот выступил на его обмякшем и расслабленном теле.

Глядя в глаза Сафи Гадирли, человек слегка кивнул головой, как бы подтверждая, что понимает его.

Формула результата Большого Поиска стояла у него перед глазами, ему захотелось, собрав все силы, крикнуть, чтобы раскрыть миру найденную им Великую Истину, но это было невозможно, у него перехватило дыхание.

Его собеседник поднялся, повернулся к Сафи Гадирли спиной и зашагал к морю, притягивая Сафи Гадирли, словно магнитом; он встал и последовал за ним.

– Муаллим, куда это вы? – удивленно спросил чайханщик Алифага.

Но Сафи Гадирли, скорее всего, уже не слышал его.

Он изо всех сил старался выйти из оцепенения и не идти вслед за этим человеком, но это было невозможно, и когда они дошли до каменного парапета бульвара, человек взобрался на него.

Сафи Гадирли последовал за ним и тоже взобрался на ограждение.

Вдруг он услышал за спиной крик чайханщика Алифаги:

– Муаллим, что это такое!? Что вы делаете?..

Из-за крика ли чайханщика Алифаги, или из-за чего-то еще, но Сафи Гадирли на секунду, всего лишь на секунду, вышел из оцепенения, и в этот момент перед его глазами, стирая результат Большого Поиска, засветилось ярким зеленым светом лицо очень красивого ребенка.

Когда они только поженились, и Фируза отказалась иметь детей, боясь из-за этого оставить мир поэзии, Сафи Гадирли, чтобы дать небольшую передышку своим мозгам, мысленно представлял себе своего нерождённого ребенка, как он поднимает его на парапет бульвара и крепко-крепко обнимает его, как они вместе смотрят вдаль на проплывающие корабли.

Затем человек шагнул с ограждения бульвара в море.

Прекрасное лицо ребенка растаяло в дыму, перед глазами Сафи Гадирли в тумане вновь всплыли расчеты Большого Поиска, освещаемые зеленым лучиком. И Сафи Гадирли шагнул вслед за человеком.

4

*«В 113 отделение полиции города Баку
от чайханщика Алифага Мюршюд оглу*

Объяснительная

Я, чайханщик Алифага Мюршюд оглу, довожу до вашего сведения, что мой клиент, Сафи Гадирли, сидел под ивовым деревом и пил чай. Он был один. Потом он с кем-то поздоровался. Я присмотрелся, но никого не увидел. Вдруг он спросил: «Как дела?», я опять присмотрелся, и опять никого не увидел. Я подумал, что он говорит по телефону. Но в руках у него телефона не было. Потом он поднялся и направился в сторону моря. Я удивился и спросил его: «Куда вы идете?», но он не ответил мне. Затем он взобрался на ограждение бульвара. Я крикнул ему: «Что это такое!? Что вы делаете?», но он опять ничего мне не ответил. Затем он сделал шаг, как будто шел по прямой дороге, и камнем упал в море. Народ собрался на мои крики. Когда спасатели вытащили его из моря, он уже был мертв.

Написал сам, и подпись моя.

Чайханщик Алифага Мюршюд оглу».

Жизнь и творчество художника Мухтара Манафлы и его бегство из этого мира

...потом поезд со свистом проехал через мост, и на дальнем склоне горы стали видны дома с побеленными известью стенами под красными черепичными крышами с опустившимися на них бело-голубыми облаками, и отец, прижавшись носом к вагонному стеклу, какое-то время смотрел на эту появившуюся вдалеке деревню.

– Как бы я хотел там жить!.. – прошептал он.

Мухтар, ученик первого класса, посмотрел снизу вверх вначале на отца, потом на ту деревню, потом снова на отца, и этот странный взгляд, устремленный за окно, навсегда врезался в память Мухтара Манафлы – прошли годы, и когда он вспоминал этот взгляд отца, он осознавал, что взгляд этот изливал тоску, переполнявшую душу.

Проехав через мост, поезд с тем же свистом въехал в лощину, и деревня исчезла из виду, за окном пронеслись только крутые скалы, но семилетнему Мухтару казалось, что отец все еще смотрит на ту странную деревню. Пока ехали по лощине, сумерки сгустились, стало темно, свет в поезде включили, и теперь отец в окне видел только свое отражение.

– Как бы я хотел там жить!.. – прошептал вновь отец.

Шли годы, и перед мысленным взором Мухтара все чаще появлялась та дальняя деревня, словно он видел ее в калейдоскопе, и по мере того, как калейдоскоп вращался, зелень садов сменялась красным цветом черепичных крыш, белыми стенами домов, цветом прозрачных облаков, земли, полей.

И казалось, что вместе с отцом поезд со свистом вез семилетнего Мухтара к белым листам, разноцветным карандашам – именно с тех пор он стал рисовать ту деревню, расположившуюся на склоне горы, и рисовал её каждый раз, когда слышал стук колес дальних поездов. Он всегда рисовал одну и ту же деревню, но сперва разноцветными карандашами, потом акварелью, а потом уже маслом, и каждый раз видел эту деревню по-новому, и с каждым разом эта деревня становилась ему все роднее и роднее.

Правда, «Проф. М.А.Саламова», глядя на его картины своими большими, живыми голубыми глазами и держа сигарету в длинных, тонких пальцах с ногтями, накрашенными ярко-красным лаком в цвет помады на тонких губах, говорила:

– Ты повторяешься. Ты должен найти новые темы.

И Мухтар старался прятать от «Проф. М.А.Саламовой» свои картины, изображающие ту деревню, но разве можно было что-то скрыть от «Проф. М.А.Саламовой», которая постоянно, держа в пальцах сигарету, ходила по пустым комнатам?

«Проф. М.А.Саламова» была его бабушкой, матерью его мамы, к тому же единственной азербайджанкой, избранной членом-корреспондентом АН СССР, и единственной женщиной в СССР, ставшей признанным специалистом по античному праву. На входной двери была прикреплена табличка с крупными буквами «Проф.М.А.САЛАМОВА», и каждый раз, когда мама приводила его в эту большую, просторную квартиру, все существо Мухтара опускалось в темноту – и дело было не только в том, что все окна в квартире «Профессора М.А.Саламовой» всегда были занавешены выцветшими, неопределенного цвета толстыми шторами – это само собой, самым главным было то, что Мухтар с самого раннего детства никаких теплых родственных чувств к этой высокой художавой женщине не испытывал.

– Опять рисуешь одно и то же? – «Проф.М.А.Саламова» делала глубокую за Тяжку и, глядя большими голубыми глазами на картину Мухтара, на которой вдали, у подножия горы, была изображена деревня, качала головой, и одиннадцатилетний Мухтар в очередной раз давал себе слово, что больше никогда не придет в гости к «Проф.М.А.Саламовой», но после неожиданной смерти отца мать не оставляла его дома одного – Мухтар выходил из школы и шел к «Проф.М.А.Саламовой», а вечером после работы мать его забирала домой.

А однажды «Проф.М.А.Саламова», глядя своими голубыми глазами то на деревню с красными черепичными крышами, то на Мухтара, сказала:

– Ты на эту деревню смотришь, как илот на свободу!

Но Мухтар ничего из сказанного не понял и спрашивать ничего не стал, потому что каждое слово «Проф.М.А.Саламовой», словно несущийся со свистом поезд, разрушало мост, существующий в его мозгу.

Муж «Проф.М.А.Саламовой», то есть дедушка Мухтара, умер давно, Мухтар его не видел, знал, что и его звали Мухтар, и его мама всегда рассказывала подругам и соседям о необыкновенной любви этого самого Мухтара и «Проф.М.А.Саламовой», но каждый раз, когда он слушал эти рассказы, мальчику казалось, что именно из-за «Проф.М.А.Саламовой» сердце дедушки не выдержало, и он умер.

Мухтар и у себя дома начал прятать свои картины, на которых была изображена та деревня, потому что и мама, как «Проф.М.А.Саламова», качая головой, говорила:

– Ты постоянно рисуешь одно и то же... Можно же нарисовать еще что-нибудь, или нет?

Рисунки этой далекой деревни были везде: и в шкафу, в котором лежали учебники и тетради Мухтара, и в ящиках стола, и под кроватью, ею были разрисованы все тетради и учебники.

Наконец, по совету «Проф.М.А.Саламовой», мама, взяв несколько его рисунков, повела Мухтара в художественный кружок. Мухтар ходить в кружок не хотел, боялся, что кружок оторвет его от этой деревни, и когда руководитель кружка в синем халате, надетом поверх одежды, с волосами, тронутыми сединой и аккуратно собранными на затылке в хвостик, рассматривала его картины, Мухтар хотел убежать и спрятаться, потому что не хотел услышать и от нее слова «Проф.М.А.Саламовой», но, к его удивлению, услышал совсем другое:

– Красивая деревня... – сказала она, и сердце Мухтара забилось сильнее. – Копировал с другой картины?

Мухтар, пропустив мимо ушей вопрос руководителя кружка, уставился на нее, ему вдруг показалось, что ее взгляд похож на взгляд отца, смотрящего в окно вагона, когда они проезжали по тому мосту.

– Нет, нет!.. – вместо него ответила мама с нескрываемой гордостью. – Он сам рисует!

А Мухтар в этот момент снова ехал в вагоне – поезд со свистом проезжал через мост, и сквозь стук колес он слышал шепот: «Как бы я хотел там жить».

В кружке вначале рисовали карандашом кубы, треугольники, потом различные кувшины, стаканы, яблоки, груши, потом постепенно перешли к цветным карандашам, фломастерам, акварели, и руководитель кружка, расхаживая по комнате, часто останавливалась возле Мухтара, внимательно изучая его работы.

– Хорошо... – говорила она, и голос ее теплом разливался в его душе, и добавляла: – Ты станешь художником. И хорошим художником.

Странно, когда он слышал эти слова своей наставницы, все предметы, которые он рисовал в кружке – кувшины, стаканы, яблоки – стирались из его памяти, словно резинкой, они исчезали, а вместо них оживала та деревня у подножия горы, и Мухтару казалось, что руководитель кружка на самом деле жительница той деревни; ему казалось, что эта красивая женщина с седеющими волосами, сложив ладонь козырьком, внимательно смотрит на поезд, проезжающий вдаль, и видит семилетнего Мухтара, стоящего у окна вагона; ему казалось, что ее взгляд зовет его, Мухтара, в эту деревню, и в стуке колес он слышал ее шепот: «Иди сюда!.. Иди сюда!..»

Мухтар смотрел на эти кувшины и стаканы, груши и яблоки, рисовал их, но в мыслях своих зачастую пребывал в той деревне и, наспех нарисовав заданные предметы, с новым воодушевлением начинал рисовать ту увиденную в детстве деревню, то черной тушью, то пастелью, то акварелью, темперой на бумаге, картоне.

– А... Тот же пейзаж? – спросила руководитель кружка. – Хорошо... – Но через какое-то время, вновь рассматривая его акварельные работы на ватмане, сказала: – Нет... Знаешь, так нельзя! – А потом повторила слова «Проф.М.А.Саламовой»: – Ты повторяешься. Ты должен найти новые темы.

И больше эта седеющая женщина никогда не смотрела из деревни, расположенной у склоне горы, на поезд, мчащийся вдаль, и вообще с этого момента больше никто в жизни Мухтара не стал жителем того села. Спустя некоторое время после того, как мама с гордостью сказала руководителю кружка: «Нет, нет!... Он сам рисует!..», она уже смотрела на изображения этой деревни так же, как на свои кастрюли и тарелки.

Учась в Бакинском художественном техникуме им.А.Азимзаде, он рисовал эту деревню с белеющими вдали стенами и красными черепичными крышами, эту зелень, эти бело-голубые облака на льняных полотнах, а когда не находил их, рисовал масляными красками на оргалите, и уже в Москве, в один из морозных дней, когда снег шел крупными хлопьями, в его жизни произошло странное событие: ему вдруг вспомнилась ныне покойная «Проф.М.А.Саламова» и сказанные ею почти двадцать лет назад слова: «Ты на эту деревню смотришь, как илот на свободу». Когда «Проф.М.Ф.Саламова» произнесла эти слова, Мухтару показалось, что «илот» – плохое слово, как ругательство, но в тот зимний морозный и снежный день он в библиотеке Академии, завалив стол словарями, сам не зная причины и никогда ранее не чувствуя такого настроения и энтузиазма, нашел значение слова «илот»: в IV-V веках до нашей эры в Спарте так называли рабов, занятых земледелием и работающих на дальних плантациях; илоты смотрели на свободных людей с неизбывной тоской и завистью.

С того самого зимнего дня «илот» поселился в его мозгу; так же, как птицы по весне после холодной зимы вили и обживали гнезда, он полностью овладевал всем его существом. Мухтар Манафлы для своей дипломной работы в Художественной академии им.В.И.Сурикова нарисовал на холсте масляными красками ту деревню, а за ней, почти на линии горизонта, – с трудом различимые силуэты ее жителей, работающих в поле, и, несмотря на то, что они едва были видны на картине, их радость, наполненная свободой и счастьем, отчетливо чувствовались, а невидимые глазу илоты с завистью смотрели на этих людей. Илоты на картине изображены не были, но в мозгу Мухтара Манафлы они с той же вечной тоской, что и две тысячи лет назад, с никогда не исчезающей завистью смотрели на жителей этой деревни, они были невидимыми зрителями нарисованной на холсте деревни.

Председателем выпускной комиссии Академии им.Сурикова был племянник знаменитого русского поэта Осипа Мандельштама, действительный член Академии художеств СССР Натан Эмильевич Мандельштам, и он впервые увидел созданную Мухтаром картину.

Прищурившись, профессор Мандельштам довольно долго и внимательно разглядывал картину, а потом, словно самому себе, сказал:

– Интересная работа!.. – и, не удовлетворившись этим, опять, словно самому себе, добавил: – Даже очень интересная работа!..

Самым странным было то, что профессор Мандельштам говорил эти слова, будто чего-то опасался, даже боялся, во всяком случае, Мухтар это отчетливо почувствовал.

Закончив свое образование, Мухтар Манафлы вернулся в Баку, и каждый раз, когда эта деревня оживала на его полотнах, илоты тем же тоскливым взглядом смотрели на свободных людей, работающих далеко, у самой линии горизонта.

Однажды ему, то есть, Мухтару Манафлы, показалось, что и его отец вместе с илотами смотрит на ту далекую деревню, и когда поезд со свистом проезжал через мост, отец вместе с илотами устремил свой взгляд на красные черепичные крыши вольной деревни, просто Мухтар этого не увидел. И слова «Вот бы и мне жить в этой деревне» на самом деле отец сказал вместе с илотами, жившими внутри него.

В один из дней жена Мухтара Манафлы Гюльзар, – она была известным композитором, – в очередной раз глядя на только что нарисованную картину мужа с изображенной на склоне горы деревней, как турки, сказала:

– Аллах-Аллах! Это уже мания!..

Мухтар, как и «Проф.М.А.Саламова», держа целыми днями в пальцах сигарету, сделал глубокую затяжку и улыбнулся, на что Гюльзар с еще большей раздраженностью сказала:

– Однозначно: это – мания!

Мухтар снова улыбнулся и, как обычно, ничего не сказал. Дело было в том, что примерно год тому назад, когда он слушал музыку из нового альбома Гюльзар, он вдруг ясно увидел ее, т.е. Гюльзар, смотрящую вместе с илотами на прекрасную и вольную деревню на склоне горы. Это открытие, связанное с Гюльзар, потрясло его. Вот уже десять лет, как они женаты, а он ее так толком и не узнал. Настоящая Гюльзар была совершенно другой. Просто Мухтар не знал об этом, и, самое главное, сама Гюльзар не знала об этом, не имела об этом никакого представления.

Мастерская Мухтара Манафлы была заполнена картинами, на которых была нарисована далекая деревня, увиденная им раз в детстве, это были и картины в цвете, и графические работы, эскизы, этюды, черновики. И когда его коллеги приходили к нему в мастерскую, они удивлялись тому, сколько можно изображать один и тот же пейзаж. Но для Мухтара Манафлы все было ясно как божий день: эти картины не повторяли друг друга и не были копиями с предыдущих работ. У каждой из них была своя особенность, единственное, что объединяло все эти работы, так это аура свободы и счастья, исходящие от этих картин. И эта аура обновлялась от картины к картине, как детский калейдоскоп, приобретая новые оттенки и нюансы.

У него были и другие работы: портреты, натюрморты, разные композиции, и эти произведения демонстрировались на выставках и раскупались. Но все эти работы помогали Мухтару Манафлы мобилизовать внутренние силы для основной работы, т.е., работая над портретами, натюрмортами, он готовил себя к основной теме.

Художники больше не приходили в его мастерскую, даже у Гюльзар отпало желание приходить туда. Но Мухтар Манафлы нисколько не обижался на это, потому что на картине Гюльзар находилась среди илотов, которые с тоской и завистью смотрели на вольную деревню, просто сама она не знала об этом. Музыка Гюльзар понимала это, сама же – нет. Гюльзар и в голову не могло прийти, что Мухтар, слушая в филармонии последний концерт, который она написала для камерного оркестра, мысленно, словно в детский калейдоскоп, как много лет назад, смотрел на эту деревню. И с каждым аккордом белые известковые стены и красная черепица крыш приобретали все новые и новые оттенки.

Большую часть дня Мухтар Манафлы проводил в своей мастерской, она была для него самым родным и уютным местом на свете. И не только потому, что здесь он мог работать, писать картины, изображая свою деревню, и, конечно, они ни в коем случае не повторяли друг друга, просто другие этого не видели, а еще и потому, что вместе с илотами он сколько угодно мог глядеть на далекую деревню, и никто не мог помешать его размышлениям о жизни, об убеждениях и идеях.

И в один из таких дней Мухтару Манафлы показалось, что вместе с ним на ту свободную деревню глядит и дед Мухтар, лицо которого он видел только на фотографиях, и это немного рассмешило его. На миг у него мелькнула мысль, что это из-за того, что дед Мухтар не может избавиться от «Проф. М.А.Саламовой», от пустой и просторной квартиры, окна которой занавешены плотными шторами, и эта безысходность заставила его устремить свой взгляд на деревню, которой так и суждено оставаться вдали. Но самым неожиданным и впечатляющим открытием для него стало то, что через некоторое время он вдруг осознал, что и сама «Проф. М.А.Саламова»

вместе с илотами смотрит на ту деревню.

Как-то ночью Мухтар Манафлы лежал в своей кровати, уснуть ему не удавалось, он встал, оделся, Гульзар тоже проснулась, но ничего не спросила, так как поняла, что Мухтар по своему обыкновению направляется в мастерскую, она повернулась на другой бок и заснула. Мухтар Манафлы вышел из такси и поднялся в мастерскую. Войдя, он тут же схватил чистый холст и укрепил его на мольберте. Не прошло и двух часов, как портрет «Проф. М.А.Саламовой» был написан: красные тонкие губы «Проф. М.А.Саламовой» были плотно сжаты, ее взгляд пытался сделать невозможное: скрыть огромную печаль и невыразимую тоску, которые прятались за ее живыми голубыми глазами.

Прищурившись и куря сигарету, Мухтар Манафлы смотрел в голубые глаза «Проф. М.А.Саламовой». Он не мог себе простить, что за все годы не смог увидеть скорбь и тоску в этих глазах. Ему вспомнилось детство, когда он ходил в кружок рисования, и перед его глазами встала руководительница кружка с проседью в волосах. Много лет Мухтар Манафлы не вспоминал эту женщину, и нахлынувшие воспоминания наполнили его грустью, потому что в глубине глаз руководителя кружка он так же ясно увидел эту тоску, но почему она сама не знала, не чувствовала этого? Может, когда человек пребывает в неведении, печаль, которая сидит внутри него, находится в состоянии сна или дремлет?!

...Тем летним днем Мухтар Манафлы сидел в мягком кресле – кресло деда Мухтара после «Проф. М.А.Саламовой» перешло к его покойной матери, а потом, от матери, в эту мастерскую, как память – и внимательно смотрел на эту деревню, возможно, эта картина, написанная маслом на холсте, закрепленном на мольберте, была самой крупной из написанных им картин, никогда он так долго, больше одного месяца, не работал над одной вещью, и эту работу он завершил вчера вечером. Закончил и, как часто это бывало, домой не пошел, остался на ночь в мастерской, любопытно, в отличие от других случаев, в этот раз ему хотелось вернуться домой, но, казалось, какая-то неведомая сила удержала его здесь.

Утром, прежде чем отправиться в консерваторию, – она была профессором и работала на композиторском факультете, – Гульзар заехала в мастерскую и увидела новосозданную большую картину.

– Великолепно!... – сказала она. – Прекрасно! – Потом перевела взгляд с картины на Мухтара и улыбнулась. – Но... не обижайся... я видела это тысячу раз!.. – Затем Гульзар, будучи всегда человеком серьезным, с неожиданным кокетством подмигнула ему и ушла.

...Потом долгие годы Гульзар часто вспоминала эту их последнюю встречу, думала, как это произошло, почему, по какой причине она в то утро отправилась в мастерскую? Что случилось? Мухтар часто оставался на ночь в студии, и Гульзар никогда не ходила туда по утрам...

Но ни неожиданный визит Гульзар в то утро в мастерскую, ни ее кокетливое подмигивание не оказали на Мухтара Манафлы никакого впечатления. Потому что Мухтар Манафлы, проведший всю ночь между сном и реальностью, находился в поезде, проезжающем по мосту, и когда утром пришла Гульзар, стук проезжающего поезда все еще отчетливо звучал в его ушах. Он поднялся с диван-кровати и сел в кресло, которое осталось в память от деда Мухтара, еще какое-то время Мухтар Манафлы продолжал оставаться в том поезде и никак не мог с него сойти. Вообще, куда его вез этот поезд? – Мухтару было все равно, и после ухода Гульзар он все еще

ехал в поезде, проезжающем по мосту, а отец смотрел в окно вагона на деревню на склоне горы, просто он не знал, что он смотрит на нее вместе с илотами и глазами илотов.

В тот летний день Мухтар Манафлы, сидя в кресле, устремил свой взгляд на далекую деревню, изображенную на картине, в этот момент, казалось, она раскинулась так широко, что вышла за пределы холста, ему даже показалось, что он видит не только поля, не изображенные на картине, но довольно четко людей, работающих на этих полях.

Вдруг какая-то неведомая сила подняла Мухтара Манафлы и поставила его лицом к лицу с деревней, изображенной на картине.

Мухтар Манафлы физически почувствовал, как его обняли, и безумное чувство, перетекшее из сердца в глубокую память и молчавшее на протяжении всех этих лет, поднялось в нем: никогда мать его так не обнимала, никогда он не чувствовал такого тепла – это было совершенно другое чувство, другое тепло, безграничное, постоянное и абсолютно родное. Он закрыл глаза и всем своим существом почувствовал, что больше не находится среди илотов и не смотрит вместе с ними вдаль, наоборот, илоты и вместе с илотами множество знакомых и незнакомых людей смотрят не на отдаленную деревню, а на него, на Мухтара Манафлы.

В тот знаменательный летний день солнечные лучи, ворвавшись, как селевой поток, залили светом мастерскую Мухтара Манафлы и придали ей какую-то особую невесомость и прозрачность.

* * *

Среди искусствоведов и художников распространилась новость, что Мухтар Манафлы исчез. С ним что-то случилось? Но что? Как? – ничего не было известно.

– У него были странности, – говорили все.

– Сколько можно писать один и тот же пейзаж?..

– Но он был неплохим художником.

– Но в этой комнате я видела его новую работу!... – говорила Гюльзар. – На огромном холсте была изображена все та же деревня. Где эта работа? И куда подевался мольберт? Он что, забрал с собой и картину, и огромный мольберт?! Куда он его унес? Может быть, его забрали? Кто? Зачем? А если не забрали, то куда в таком случае ушел Мухтар?

Тутовая Ветка, Побег Абрикоса и сказка желтого соловья

Герцог: ...нет повести печальнее на свете...

У.Шекспир, «Ромео и Джульетта»

Зима закончилась, наступила весна, и Старое Тутовое Дерево пробудилось ото сна, впитывая корнями прохладную воду и согреваясь под лучами солнца, его ветки покрылись почками, и из одной из них появилась молодая нежная веточка, которая быстро росла, набирая силу, и вскоре обросла листьями, радуя глаза.

Старые ветки тутового дерева удивлялись, глядя на Молодую Ветку, потому

что она все время улыбалась. Но чему? Они никак не могли понять, потому что их окружали те же деревья, которые они видели каждый день, в небе были те же самые луна, солнце и звезды, они с изумлением смотрели, как быстро растет Молодая Ветка, а листочки на ней так блестели на солнце, что даже повидавшие не одну весну старые ветки дивились, глядя на нее: ведь все они были детьми одного и того же дерева, все пили одну и ту же воду, дышали одним и тем же воздухом, но при этом Молодая ветка улыбалась и светилась особым светом, и росла, росла на глазах. Причину этой загадки они разгадать не могли.

Старое Тутовое Дерево хорошо понимало то, чего не могли понять старые ветки, да, все было, как всегда, то же солнце, та же луна, те же звезды, дерево одинаково поило все свои ветки водой, которую оно добывало из недр земли, и дерево, и его ветки дышали одним и тем же воздухом, но наряду со всем этим существовала еще одна причина, которая давала дополнительные силы Молодой Ветке, и побуждающей причиной этих сил и стремлений была радость.

Молодая Ветка Тута была полна радости с момента своего рождения: она радовалась теплу, которым ее одаривало солнце, радовалась, что по ночам мир освещают луна и звезды, ей нравились другие деревья, которые также пробуждались после зимней спячки, она радовалась, что на этих деревьях набухают почки, распускаются листочки, ветки растут, раскрывая свои объятия миру, радовалась траве, пробивающейся из земли и покрывающей ее нежным ковром, радовалась каждому цветку и тому, что лучи солнца с одинаковой любовью согревают и деревья, и траву, и цветы, не давая им замерзнуть.

Ясное дело, что деревья по ночам не спят, они засыпают с наступлением осени, спят всю зиму и хорошенько высыпаются за это время. А вот птицы по ночам спят и встают рано. И Молодая Ветка Тута радовалась их красивому пению ранним утром, радовалась журчанию реки, которая протекала неподалеку, а с наступлением темноты радовалась кваканью лягушек и верещанию сверчков.

Молодая Ветка Тутового Дерева и сама не заметила, насколько она выросла; больше, чем прохладная вода и солнце, ее взращивали любовь и радость, и для нее это было естественным, она считала, что так и должно быть.

Тутовое дерево не могло сказать это своим веткам, потому что деревья не могут говорить, они могут только чувствовать, и другие ветки тоже должны были это почувствовать. Но только другим веткам после зимней спячки больше всего хотелось напиться прохладной водицы и согреться под лучами теплого солнца. Старые ветки не чувствовали того, что чувствует Тутовое дерево, потому что они каждый день пересчитывали свои листочки, так как самым большим желанием каждой из них было похвастаться перед товарками количеством и нежностью своих листьев.

Старое Тутовое дерево чувствовало радость жизни, наполняющую Молодую Ветку, и считало ее самой счастливой в мире.

Молодая Ветка и сама считала себя самой счастливой, но в этом счастье было еще какое-то чувство ожидания, как будто она была в преддверии какого-то другого, нового счастья.

В одну из прекрасных ночей Молодая Ветка Тута, глядя на луну и звездное небо, предавалась мечтам – а мечты ее состояли из того, что ночью она радовалась, вспоминая то, что видела днем, потому что для нее это и была жизнь.

В ту прекрасную ночь, отдавшись мечтам, она и не заметила, как наступило утро. От грез её пробудило пение птицы, которую она никогда раньше не слышала.

Молодая Ветка Тута приподняла свои нежные листочки и огляделась по сторонам, чтобы увидеть певца, но в предрассветных сумерках разглядеть птицу ей не удалось, а та продолжала наполнять округу своим волшебным голосом. И только когда полностью рассвело, Молодая Ветка наконец-то смогла разглядеть маленькую желтую птичку – Соловья.

* * *

Недалеко от Тутового Дерева росло Абрикосовое Дерево, которое тоже пробудилось от зимней спячки и разрослось, раскинув ветки, Соловей сидел на одной из его веток и заливался трелью.

Соловья еле было видно среди молодых красновато-зеленых листьев Побег Абрикосового Дерева. Но Молодая Ветка Тута, слушая пенье Соловья, как ни странно, смотрела не на Соловья, а, сама не зная, почему, смотрела на Побег Абрикоса., и в эту самую минуту листья на Побеге Абрикоса задрожали, напряглись и выпрямились.

С тех пор, как Молодая Ветка Тута появилась на свет, она всегда видела большое Абрикосовое Дерево, и Молодой Ветке Тута очень нравились цвета листьев Абрикосового Дерева, они доставляли ей радость. И сейчас Молодая Ветка Тута, глядя на Побег Абрикосового Дерева, испытывала радостное чувство, только теперь к этому чувству примешивалось еще какое-то другое, непонятное чувство, и Молодая Ветка Тута не могла понять, что это.

Молодой Ветке Тута казалось, что она впервые видит это Абрикосовое Дерево, и странность была в том, что Молодая Ветка Тута никак не могла отвести взгляд от Побег Абрикосового Дерева.

Соловей явно был в ударе, он пел так вдохновенно и исполнял свою самую красивую песню, но Побег Абрикосового дерева, глядя на Ветку Тута, словно не слышал этого пенья, хотя, когда рано утром Соловей прилетел и, сев на его ветку, начал петь, он был в восторге, даже был горд тем, что Соловей выбрал именно его, и исполняет эту песню исключительно для него.

Побег Абрикосового Дерева и Ветка Старого Тута глядели друг на друга, не отрываясь. В эту минуту они как будто хотели чего-то большего, чем эти взгляды, чего-то не хватало, но что они могли еще сделать, кроме того, как смотреть друг на друга?

Соловей вдруг замолк, наступила мертвая тишина, но тишина эта теперь была другой. В чем же была причина? Ни Ветка Тута, ни Побег Абрикоса этого не знали, но разницу чувствовали. Неожиданно Соловей вспорхнул вверх и, немного покружив среди деревьев, так же неожиданно сел на Ветку Тута.

Странно, видел ли Соловей их взгляды, устремленные друг на друга?

Могут ли птицы видеть взгляды деревьев?

Тогда почему Соловей среди огромного количества веток Старого Тутового Дерева, выбрал именно Молодую Ветку Тута?

Когда Соловей своими маленькими и нежными коготками обнял Ветку Тута, ей показалось, что Побег Абрикоса прикоснулся к ней, и прикосновение это, соединившись с радостью в ее душе, пробудило чувство, дремавшее в ней, как бутон, оно вдруг расцвело и распустилось, и чувство это было такое сильное, что даже Тутовое Дерево, которое задремало, слушая пенье Соловья, вздрогнуло, оно посмотрело вначале на свою Ветку, затем осмотрелось вокруг, но ничего не увидело и ничего не поняло, может, потому, что оно состарилось, и уже забыло, какие удивительные

вещи происходят в жизни.

Тепло, которое исходило от нежных коготков Соловья, обнимающих Ветку Туту, не было похоже на тепло, исходящее от солнца, это было какое-то другое, новое чувство, в этом чувстве было что-то родное, и оно, это чувство, полностью охватило все существо Ветки Туту, но было и что-то приятно незнакомое, может, это было продолжением ощущения преддверия неизвестности? Но Ветка Туту была так взволнована, что ни о чем не могла думать.

Соловей снова запел, потом внезапно замолчал, взлетел вверх и растворился в небе, но Ветка Туту не хотела, чтобы Соловей улетал, она хотела, чтобы Соловей снова сел на Ветку Абрикоса, и его маленькие нежные коготки передали Ветке Абрикоса все, что она не может высказать.

Побег Абрикоса тоже смотрел вслед улетающему Соловью, его красновато-зеленые листочки внезапно задрожали, потому что он тоже не хотел, чтобы Соловей улетал, хотел, чтобы Соловей, слетев с Ветки Туту, снова опустился бы на него.

Конечно же, Ветка Туту сразу заметила шелест листьев Побега Абрикоса, это был не просто шелест, он создавал приятное дуновение в сторону Ветки Туту, как бы утешая ее из-за того, что Соловей улетел.

Солнце поднялось в зенит, потом пошло к закату и наконец ушло за горизонт, наступила ночь, и Побег Абрикоса в темноте больше не был виден.

Ветка Туту знала, что сколько бы она не всматривалась в темноту, она не сможет увидеть Побег Абрикоса, но оторвать свой взгляд оттуда не могла, и еще Ветка Туту точно знала, что из темноты Побег Абрикоса так же смотрит в ее сторону.

Ветка Туту и не заметила, как погрузилась в мир грез. Но в этот раз в своих мечтах она вспоминала не только то, что увидела днем. Ей вдруг показалось, что ее листва прикоснулась к листве Побега Абрикоса.

Это было такое прекрасное чувство, что Ветка Туту не хотела расставаться с этим ощущением, но постепенно это чувство окутали тоска и печаль, потому что она понимала, что эти мечты так и останутся мечтами, и их листва никогда не коснется друг друга.

И тут Ветка Туту опять услышала пение Соловья, в предрассветных сумерках можно было различить только его силуэт, но она по его пению поняла, что это именно их Соловей, и он опять сидел на Побеге Абрикоса.

После продолжительного пения Соловей резко взметнулся в воздух, покружил между Тутовым и Абрикосовым Деревьями и сел на Ветку Туту, которая ожидала его, и снова начал свое завораживающее пение.

Что хотел сказать своим пеньем Соловей? Ветка Туту не понимала языка птиц, но по мере того, как вслушивалась в это пение, ей казалось, что голосом Соловья для нее поет Побег Абрикоса.

Тепло, исходящее от нежных коготков Соловья, конечно же, было теплом переданным Побегом Абрикоса, и Ветка Туту ощущала это всем своим нежным существом, чувствуя это, Молодая Ветка Туту, казалось, наполнялась светом, словно она дышала не воздухом, а солнечными лучами.

Соловей закончил петь, мгновение вслушивался в наступившую тишину, взмахнул крыльями и улетел, но через некоторое время произошло невероятное: затем Соловей вернулся и снова опустился на Побег Абрикоса, начал свое пение, потом взлетел, покружил между деревьями, сел на Ветку Туту и, обвинив ее своими нежными коготками, продолжил наслаждаться их своим искусством.

* * *

Теперь каждое утро Соловей садился на Побег Абрикоса, пел свои песни, затем перелетал и опускался на Ветку Тута. Так он передавал Ветке Тута то, чего не мог сказать ей Побег Абрикоса. В эту минуту Ветку Тута охватывало такое волнение, что даже Тутовое Дерево это чувствовало, и это его сильно удивляло, потому что оно было очень далеко от таких чувств. Сейчас глубоко под землей своими корнями оно стремилось напиться воды и подкормиться удобрениями, а потом переправить все своим веткам, чтобы те могли принести богатый урожай.

Пока пел Соловей, листья на Побеге Абрикоса светились и переливались под солнечными лучами. И свет, исходящий от этой листвы, разливался по всему существу Ветки Тута.

Каждое утро для Ветки Тута и Побега Абрикоса начиналось с пенья Соловья. Но однажды предрассветное время перешло в утро, наступил день, а затем и закат, а Соловья все не было, он не прилетел. Ветка Тута и Побег Абрикоса, приподняв свою листву, смотрели друг на друга в ожидании Соловья, но он так и не появился.

Прошел день, второй, третий – Соловья не было. Интуиция Ветки Тута подсказывала ей, что что-то случилось. Соловей больше никогда не прилетит, больше никогда он не сядет на Побег Абрикоса и не начнет петь, не обнимет ее своими нежными коготками и не передаст слов ее возлюбленного.

Целыми днями, приподняв свою листву, Ветка Тута и Побег Абрикоса, смотрели друг на друга, и разноцветная листва на Побеге Абрикоса постепенно стала жухнуть.

Ветка Тута видела все это, и начала постепенно впадать в грусть и тоску. Ее листочки тоже стали чахнуть и желтеть.

Другие ветки Тутового дерева удивлялись, ведь осень еще не наступила, почему же листья Молодой Ветки пожелтели? Конечно же, они ничего не могли понять.

У Ветки Тута больше не было сил, чтобы приподнять свои листочки и посмотреть на Побег Абрикоса. И ей снова захотелось побыть в мире грез, захотелось помечтать о том, как листва Побега Абрикоса прикоснется к ее листве. Но у нее не было сил даже для мечты.

Тутовое Дерево видело, как грусть и тоска одолевают Молодую Ветку, но приписывало это изменение приближающейся осени. Оно думала: ничего страшного, наступит осень, а потом зима, Молодая Ветка впадет в спячку, весной проснется и снова зазеленеет, разветвится и снова будет веселой.

* * *

Закончилось лето, наступила осень, за ней пришла зима, и снова наступила весна, но на высохшей Ветке Тута почки так и не появились.

Той весной Тутовое Дерево разрослось с еще большей силой, и забот у него прибавилось, возможно, поэтому смерть прошлогодней ветки не была для него важным событием, и, конечно же, оно не могло знать, что прошлогодняя ветка на Абрикосовом Дереве, растущем напротив, тоже высохла.